

ВЛАДИМИР ЛИЧУТИН

РАСКОЛ



Владимир Личутин

**Раскол. Роман в 3-х книгах:
Книга III. Вознесение**

«ИТРК»

Личутин В. В.

Раскол. Роман в 3-х книгах: Книга III. Вознесение /
В. В. Личутин — «ИТРК»,

Владимир Личутин впервые в современной прозе обращается к теме русского религиозного раскола – этой национальной драме, что постигла Русь в XVII веке и сопровождает русский народ и поныне. Роман этот необычайно актуален: из далекого прошлого наши предки предупреждают нас, взывая к добру, ограждают от возможных бедствий, напоминают о славных страницах истории российской, когда «... в какой-нибудь десяток лет Русь неслыханно обросла землями и вновь стала великою». Роман «Раскол», издаваемый в 3-х книгах: «Венчание на царство», «Крестный путь» и «Вознесение», отличается остросюжетным, напряженным действием, точно передающим дух времени, колорит истории, характеры реальных исторических лиц – протопопа Аввакума, патриарха Никона. Читателя ожидает погружение в живописный мир русского быта и образов XVII века.

© Личутин В. В.

© ИТРК

Содержание

Всему на земле свой срок быванья	6
Часть первая	12
Глава первая	12
Глава вторая	17
Глава третья	25
Глава четвертая	28
Часть вторая	32
Глава первая	32
Глава вторая	38
Глава третья	44
Глава четвертая	52
Глава пятая	55
Глава шестая	67
Глава седьмая	75
Глава восьмая	85
Конец ознакомительного фрагмента.	103



Владимир Личутин

Раскол, книга III

Вознесение

Все́му на земле свой срок быва́нья

Вот и Кирилл Белозерский, любимый отеченька и заступленник, почил в бозе. И ученик его Савватий, постник и плакальщик по Христе, удалился из учительской осиротелой келеицы искать на Руси безмолвного жития. Не чудно ли, братцы мои?! У Белого озера посреди глухого суземка, где леший да девка-маруха монаху за обыкновение, шумно и людно показалось чернцу. Заткнул постриженник ветхую струистую бороду за широкий лосиный пояс, поверх домотканого понитка покрылся холщовым лузаном – странническим мешком, собрал туда подорожного харчишку, шесть пар лаптишек, Псалтирю и «Маргарит» с житием почтенного Златоустого, посунул на гуменцо головы сермяжную еломку, взял в руки можжевелевую ключку подпиральную и, низко поклонившись монастырской братии, побрел таинственной тропею от скита к скиту в поисках того крайнего прибегища, где доведется пристать до скончания веку...

Видел: в суете прозябает народец, все суетится, спешит куда-то на рысях, о гобине много печется, стаскивая нажитое в сундуки и чуланы, будто век достанет куковать на земле-матери; оттого и голка, свара вокруг, и то немирие, что изтиха изъедает мятежное беспокойное сердце, сгущаясь недолге в темную непогодную тучу, и вздымается к Божьему престолу, как сатанинское зловонное дыхание... Еще по Сергию слезы не просохли, а уж и Кирилла не стало; упокоились адаманты веры, светлоблистающие камни-ясписы в основании православного дома, неиссекновенные стулцы под Христовой церковью. И невольно тут воскликнешь: ах и ох! Долгая мрачная гнетая улеглась на русском сердце.

Как почтарские дороги государевы строятся от яма к яму, от одной кушной зимовейки до другой, так и скитские путики торятся и развешиваются монашьими вздохами; и покуда слышен сердцем чернецкий молитвенный глас, ступай себе, старичище, не робея; но как начнет испотухать, там обязательно в распадке близ гремучего студенца, иль на крутом юру в сосновой роще, иль на медовой таежной чищенке, иль у речной излуки встретит тебя келеица с поклонным крестом осторонь. И в том пути пался Савватию на глаза монах Герман, зимогор из кушной хижи, бирюк и молчун с прозрачными льдистыми глазами, с сажной чернью в обочьях; но зоревые тугие щеки из-под суконной шляпы торчат и пестрая борода ухватом. Вот тебе, Савватий, споспешник, подпорка ненадоедная под одесное плечо; что одному в тягость поднять, вдвоем куда сподручнее; да и легче станет борониться от лихого супостата, что наступает на пятки и дышит в затылок всякому монаху в его подвиге.

А не вещий ли это знак?! Де, слабосильный и хворый ты, Савватий, но хоть духом святым напитай ту вотчину, в коей бытовать Герману в его долгих неотзывчивых строительных трудах. Будто по руслицу невидимой подземной протоки, минуя многие мирские прелести и держась за вещую куделю, отошел ты, Савватий, однажды от Белого озера, а прибежал к Белому морю.

Монахов подобрали в карбас кемские промышленники, улестили страдников Соловками: де, найдете там воистину угрюмое безмолвное житье среди студеных вод, и только дикая гагара, седой ворон да ветер-морянин станут вам за совсельника.

По пути к Соловкам пристал карбас на Кузовах к Немецкому острову щербы похлебать. Пока готовили рыбаки еству, взлез Савватий на замшелый камень и вдруг над лосной покатью моря, будто присыпанного толченым жемчугом, разглядел вдали млечно-белый город с золо-

тыми шеломами. Не так ли прекрасен Спасителев град Иерусалим, куда стремится по смерти всякая безгрешная душа? Савватий окстился в изумлении, попытался прогнать наваждение; обавники-искусители, слуги диаволовы еще и не то насулят тебе, ежели подпадешь под их чары.

... Эй, не дивись, старче! То град Китеж, полоненный водами Светлояра, разъял земные толщи и воспарил из студеной пучины за тыщи поприщ от заволжских старорусских скрытен. Пока ангельские крыла не вознесли его к небесным Чертогам, обведи дивный лик перстом, чтобы сохранить то явленное послание Господа на серебристом крутосклоне, как на пергаментном нетленном свитке...

Тут дегтярной темени стена скоро напозла ниоткуда, из полуночной страны, и схитила тонкий волокнистый облак и стоящий на нем пречудный град. Грянул Савватий ниц на тундряной камень, облитый морошкой и брусничником, и радостно восплакал.

С этой сердечной радостью Савватий на другой день пристал к берегу в губе Сосновой и, отступя малость от моря, возле глухого озера, опушенного чащинником, келью поставил и часовенку срубил. Но жизнь в отоке морском не заладилась; года пали неродящие, то замоки, то зябели, то штормину Всемиловый нашлет в испытание, то снега ранние с морозами; репой кормились да грибами, сосновую кору да олений мох сушили, в деревянной ступе терли, да из той лешевой мучицы пекли колобы, помалу примешивая ячменных высевок. Шесть лет маялись беззавистники, набедовались сполна; однажды после Ильина дня, когда брат Герман съехал в Онежскую слободку промыслить харча, монах Савватий закручинился зело, занедужил. Почувяв близкий конец, сплыл Божий страдник на Корельский берег и там преставился на рыбацкой тоне. А случилось это в лето Господне тысяча четыреста тридцать пятое...

* * *

Ничто не делается без Божьего попущения.

Облик града, вставшего из вод морских и запечатленного на небесных свитках, дождался своих послушников. Уже в другое лето осиротевший Герман встретил на Суме-реке монаха Зосиму и увлек за собою обратно на Соловки в благое место. И принялись они, уповая на милость Творца, тружиться, как пчелы в борти, вылепляя топором, да долотом, да мотыгой сокровенные соты будущей обители. Уверился Зосима, что здесь-то средь камня и поклончивого леса и покоится та скрыня с елеем, нардом и миром, коих достанет для всей святой Руси. Через сто лет приплыл на игуменство бывший московский боярин и будущий митрополит и святомученик Филипп Колычев, павший от руки опричника Малюты Скуратова...

За два века радениями трудников и монастырской братии, старцев и служек, и наймитов, недорослей и приписных крестьян деревянный скит, вроде бы навсегда затерявшийся в студеной морской голомени, не только оделся в каменные вдохновенные ризы и оградился валунной крепостной стеною от всякой нечистой силы, но стал обетованным святым местом для всякого благоговейного богомольника и заслужил повсюдную молву великого Господина, защитника и заступленника сирых, радетеля и благодетеля. Даже самый-то душегубец, безжалостно окорнанный палачом, лишь захоти своею волею очистить грешную душу свою, будет оприючен в Соловецкой обители до гробовой доски. Помнят, помнят еще монахи: и последние станут первыми, ибо никому не закрыты врата в Царствие Небесное.

Исполнились мечтания преподобных старцев. Лики их засветились на иконных досках, а слава монастыря проникла во все укромные Руси. Уже к царствию Алексея Михайловича обитель прикопила дареньями великих государей и вкладыями ревностных молитвенников да закладными многие поморские волостки и селища, и слободки, погосты, деревни, высылки: Пияль и Нюхчу, Анзеры и Золотицкий берег, Кушерецкое, Варзугу, Вирму, Шижню, Сороку и Колежму, Сухой наволок, Лямцы и Кильбоостров, богатые уголья по Двине и Выгу, и Керети, и Золотице, и Кеми. Монастырь не только оброчил поморцев, изо всякого промыслу – зверного

и пушного, и рыбного, и кузнечного, и сермяжного, и скорняжного – забирая в Божий дом десятину, но и отошли во владения монахам солеварницы и салотопни, канатные и сетные избы, семужьи и сельдяные тони по морскому берегу, и ловища мелкой рыбы по лучшим местам в речках и озерах, и сенокосы, и страдомые пашенные земли, и лешие звериные ухозя.

Вверх по Двине тянули бурлаки насады с рогозницами соли (до ста тысяч пудов соли вываривал монастырь в цренах из беломорской воды), а с Вологды и Устюга рекою и морем, с перевалкою в Архангельском городе с барок и полубарок на лодьи и кочмары, везли приказчики на общежительский монашій стол рожь, и ячмень, и овес, и пшеницу, крупы всех видов, масло конопляное и коровье, горох, мед, черную икру, мясо свиное, вина (романею и ренское), сукна старческие, свиточные, манатейные, сукна сермяжные, овчины, кожи задубные, юфть белую и красную, полотна разных сортов, ложки и блюда иверские, да мыла костромские и борисоглебские, парусное полотно, пеньку, вяземскую пряжу, холсты рубашечные, сукна кирилловские и заозерские, рогозины, посконь, лыко, смолу, деготь, воск, ладан, медную и оловянную посуду... Зерно закупали по обыкновению в урожайные годы, когда дешев был торг, и того хлебного запаса хватало при нужде лет на десять и более: во время хлебной дороговизны монастырские приказчики терпеливо дожидались милостивой цены.

Но ведь и сидел-то монастырь на островах не как старый скряга-процентщик на сундуках с золотом, но кормил и одевал не только братию и трудников, и наймитов (тысячи с полторы едоков), но и всякого богомольника, что притек на лодье за духом святым, и всякого вконец обнищавшего казачка, бобыля и детеныша на морском берегу, кого догнала крайняя бесхлебица; да и погорелец иль болезный мужичонко, попросив милостыньку, получал от игумена не только доброе благословение, но и ту полтину, что помогала семье вытянуться из нужды... Вот и царская казна забирала оброком шестьсот рублей ежегодно; и войны, что донимали Русь с угрюмым постоянством, не раз приопустошали монастырские запасы. Только Алексею Михайловичу на войну с Польшею соловецкий игумен отвез сорок пять тысяч рублей серебром.

Но и такие траты не разорили обитель: ризница постоянно пополнялась дорогой церковной срядью, а казна – ефимками и угорскими корабельниками, и русскими рублями, и прутяным золотом, и серебряной посудой, аксамитами и бархатом, и кованым узорочьем, и меховой рухлядью. Если торговля солью давала обители одну пятую всех доходов, то и оброчные деньги, земная дань с монастырских угодий – мельниц, варочных цренов, рыбных и звериных ловищ, слюдяных ломок – изрядно пополняли казну. А куда деть многие щедроты в дом Спаса Преображения от царского Двора и боярских вотчин? А вклады на случай житейских превратностей и деньги на помин родителей и своей грешной души? А дачи от черного люда, от деревенского бобыля, ютящегося в своей похиленной хижке, до казачка, бродящего по найму меж дворов, что последний грошик с чистым сердцем посылали на остров с попутьем? А молебные и кружечные деньги богомольцев, увозивших с монастыря во все уголки Руси «промененные» образа, «чудотворцевы жития», и свечи, и освященную воду бочонками?..

Щедрую рукою вроде бы раскидывала обитель милостивую гобину, но и неслышимо, с чувством скупца-крохобора собирала пчелиную взятку со всякого скромного цветка на необозримом лугу, ибо крепость молитвенного Дома стоит не только слезными стенаниями за всех страждущих, но и той деньгою, грошом и алтыном, что, не гняя, укладывается в могущественные скопы по каменным чуланам, погребам, сундукам и скрыням. Ведь не только слабая душа требует постоянной укрепы словом и подмогою, но и самый возвышенный цветущий храм, чтобы не обрушиться до времени, любит хозяйский глаз и сметку. С богатством же, братцы, приходит однажды и свобода, и смелость в чувствах, и решительность в делах, и милость к падшим, и щедрость к нищим; в стенах такого дома (пусть и не всегда) заселяется та полнокровная жизнь, с которою ой как трудно распрощаться его хозяину...

И когда русский окоем охмарило внезапной непогодю, когда новины на православную землю полились не ложкою или чаркою, но ведром и четвертью, когда все моления к государю

соловецких старцев остались тщетны, когда царские поползновения протянулись не только на сундуки с монетою, но и на сам монастырский устав, когда еретики-чужеземцы и клирики-латиняне, одевшись в православное платье, окружили престол, а свет-царь не захотел увидеть всей беды, приступившей к родному порогу, – тогда-то соловецкие монахи и решились на отчаянный шаг: они закрылись в монастыре. Но все еще оставалась надежда, что одумается батюшко под присмотром чудотворцев Зосимы и Савватия, протрет опойные вежды, стряхнет с себя дурь и враждебные невидимые пути; но... пошли отовсюду вести: де, круто государь взялся за искренних богомольщиков, жжет их в струбках, повсюду сует в петлю, режет носы, и уши, и языки, ломает страдальцам кости, пятнает чело, яко скотине, и вкидывает в темницы; и тюрем тех стало недоставать на Руси. Хотя и много кровищи пролил Грозный царь, но и тот до черносошного народу так круто не домогался, блюл кормильца, не отбирал воли, не приступал к праотеческой вере и чтил стародавний обычай. Ибо верностью преданиям крепится всякая держава. Но печальные слова митрополита Филиппа, воскликнутые прилюдно век тому в защиту боярам, вдруг вытаились из нетей, обрели ныне вещей суровый смысл и стали понятны самому убогому человечешке, ибо тучи ныне сгустились и над ним: «У татар и язычников есть закон и правда, а в России нет правды; везде славится милосердие, а в России нет сострадания даже к невинным и правым. Сколько невинных людей страдает. Мы здесь приносим бескровную жертву, а за алтарем льется невинная кровь христианская. Грабежи и убийства совершаются именем царя...»

Но не гадал митрополит, что наступят грешные времена, когда и Грозный покажется за праведника. Исказя веру, последней свободы лишил Алексей Михайлович свой народ; заповеданное и нетленное православное слово, данное самим Господом Богом, может, оказывается, править и иначе земной человек, хотя бы и был он в чести и славе. Посеянным сомнением в своей праведности Алексей Михайлович подточил свой престол, и только жесточью можно было удержать его. Этот царь по жизни своей стал куда безжалостнее и круче Ивана Грозного, хотя при Дворе был обвеличан Тишайшим.

Но знайте: где свары и суторщины лишь вкинуто семя, где искра пожара чуть тлеет в разворошенном уме, тут обязательно сыщутся люди в подмогу, что подбросят, даже из любопытства, и бересты, и сушинку приволокут, и пороху подсыпят, чтобы разжечь огонь... Вот и в Соловецкую обитель, словно бы чуя великую брань, кровь и смуту, пришли в разиновщину многие капитаны чернцы и бельцы из понизовых городов, исторгнутые из церкви, да собралось много беглых московских стрельцов, и донских казаков, и боярских беглых холопей, кому уже нечего терять в сей жизни, да приплыли богомольниками разных государств иноземники – свинские немцы, и поляки, и татарове, и турки – и тоже остались за стенами. А сбежались всего человек с четырехста. Вот и пушечный городской наряд пригодился, и амбары с зельем, и хлопковая бумага, и льняное масло, ибо много лихих умельцев сыскалось среди пришлых...

* * *

... Ефимко Скобелев, бывший келарь скита на Суне-реке, угодил в разиновщину в плен под Астраханью и, лишившись уха и шуйцы по локоть, попал на вечную ссылку в Кольский острожек, в землю полуночную, откуда до ада всего с три версты. А ему ли, слуге Иудину, вертепа пугаться? ведь не в чан со смолою ввергнут, но дадут кокот кованый, чтоб уголья ворошить... От старца Александра напитавшийся блудословия, набивший руку уставным письмом в капитанских заволжских скрытнях, где самому Капитану вошел в сердце, он и в Коле обавил воеводу Василья Эверлакова самой малостью: за полгода списал «Гранограф» с книги Канда-лакшского монастыря, хотя встала бы рукопись стольнику в девять рублей, закажи ее монаху в переписку. Ишь вот, злодей лукавый: образом своим видок, речами сладок, статью дороден и в письме ловок. И за ту услугу была дарована сосланному Ефимке полная свобода в Кольском

острожке и келеица окнами на морскую губу; и, пользуясь милостью воеводы, стал он сбивать вокруг себя городских стрельцов и, похмелив кабацким вином, ловко втолковывать сердешным: де, ныне живет на земле антихристово учение, и дело его, собаки-антихриста, людей мирских всяко мучить да мазать любодейным перышком печать ту диаволу на лбу православном. И кто воображает на себе тремя персты крестное знамение, тот сатане первый потворщик и антихристу прислужник; и что три первых перста – эта поганая щепоть – означают зверь, змий и лжепророк. Повязались в одну тройку борзые кобеля и ну обесивать народ, толкать в геенну. И еще втолковывал Ефимко: де, надобно от церкви никонианской бежать прочь; лучше с грехом смеситься и Иуде лобызать плюсны, чем причащаться из скверных любодейских рук; ведь и попы-то ныне суть не попы, ходят в ляцких рясах и в римских колпашных камилавках, а иные, как простые людины, простоволосы бродят по Москве и шапку с заломы и соболем носят...

Ну как стрельцам не поверить Ефимке? у того голос зычный, с раскатом, рожа багровая, набитая ветром, глаза навывкате, дерзкие, левая рука кожей обтянута, и этой культей каждое слово будто приколачивает косорукий к столешне. И хоть молвят в Поморье: де, кто в Коле с три года проживет, того и в Москве не обманут, но двое стрельцов скоро купились на Ефимины речи: де, ежели где и стоит пока вера истинная на Руси, так в Соловецком монастыре, и хоть закрылись там православные накрепко, но подмоги ждут и в той надеи их никак обмануть нельзя.

На одного служивого бродяга-обавник особенный глаз положил. Был Ивашка Шадра, московский стрелец, еще не обсемянен, с чистым девичьим лицом, слегка побитым оспою, с льняным косым чубом на хмельные зеленые глаза. Э-э-э! такой человек спит не спит, но всегда бодр и весел, словно молодильной водой окачен из бадьи; и губы брусничной спелости полуоткрыты выжидательно, выказывая сверкающую зернь зубов. Он носил червчатую мурмолку набекрень, опущенную рысью, не снимая шапки и в избе, и серебристый остистый мех, затеняя взгляд, придавал Шадре какой-то бесстрашный задиристый вид. Ивашка был столь молод и беспамятен, что светлая шерсть едва обметала скуля. Иногда он смеялся, запрокидывая голову, так что синели жгуты жил на шее, и скоро опомнивался, до крови прикусывая нижнюю губу. Ефимко обычно усаживал его возле себя и, будто забывшись, прихватывал за плечи здоровой рукою, как девку на посадках, и прислонял к себе...

Другой, Самушко Васильев, был молчалив, плешеват, остронос, видом болезненно бледен, в правом ухе качалось серебряное дутое кольцо, когда стрелец встряхивал головою.

«Я-то в разиновщину лихо погулял. Я всего повидал. В крови-то по шею купывался. Я-то пожил не с ваше, молодцы, – ставил мережки Ефимко, перекидывая разговор на иное. – А вы, робятки, молодяжки еще, и мохом-то не опушились. Вас-то, сердешных, за что в тюрьму без стен утолкали? С одной стороны море, с другой – горе, с третьей – мох, а с четвертой – ох. Лучше помереть, кабы в один час, чем эдак-то тлеть...»

Еще долго бы вечерами тянулась словесная канитель, кабы жизнь не подтолкнула. Московские уши по всей Руси понасажены. По извету дьякона Ивана Григорьева стрельцы Ивашко Шадра и Самушко Васильев были расспрашиваны пред воеводою, трижды пытаны на дыбе, да каждому вложили в науку по пятнадцать плетей. Но стрельцы стояли на своем, вины не признавали, но и покорения не приносили, милости не просили и от раскола не отставали, уверяя, что антихрист воцарился на всей земле, и кто осенится поганой щепотью, да будет проклят.

Суеверы были посажены в съезжей избе в железах за решетку, а дело их отослано в Москву. В апреле семьдесят третьего года в Кольский острожек прибыл из столицы воевода Зот Полозов с государевой грамотой: по указу царя велено было еретиков Ивашку Шадра и Самушку Васильева, сказав их вину, сжечь на площади в костре. Но стрельцы еще за полгода до приезде воеводы Полозова выломались из тюрьмы и осенней ненастной ночью утекли неведомо куда.

А путь их лежал в Соловецкую обитель. Кормщиком увязался Кольского уезда бобыль Матюшка Леонтьев по прозвищу Кеда. И как отошли на карбасе в море, Ефимко Скобелев открылся вдруг спопутчикам: де, никакой он не Скобелев, а есть служивый астраханский человек Фадейко Кожевников; де, пристало время всякому православному открыться в истине, и будет он жить отныне под родителейым именем.

... Ветер пался на тот случай отдорный, бережной, бойкий, и в двое дён под парусами добежали беглецы до потаенных островов.

Часть первая

Глава первая

Царица Марья Ильинична запомирала.

Знать, послабли обручи, рассохлась утробушка, занедужила от многих родин; ведь каждое дитятко, напиться под грудью материнским соком, один за другим потиху испили из нее жизненные силы. Вроде бы только давече выкрикнул рында от переграды Красного Крыльца сердечную радость: де, восьмой дочерью Евдокией пожаловала матушка великого государя, и тем же днем выкатили на Ивановскую бочки с пивом и медом да раскинули по цареву тесовому помосту, что тянулся через волглые снега от Дворца к Успенскому собору, обильный кривой стол со всякой снедью, чтоб всякий простолюдин мог попотчеваться и принять чару на грудь; еще вроде бы и колокола не утихли на Иване Великом, и звоны, вплетаясь в воздушный аер, покойно потекли в дальние укромны Руси с благой вестью, – а уж ныне зеркала завешаны черными портищами, и свечи возжены пред младенцем; едва продрав глазенки, отплыла безгрешная в райские кущи...

К матери с худой вестью не прихаживали, чтоб не всколебать ее горем, но огневица, восьмая иродова дочь, змеей-медянкою втянулась в прорешку Теремного окна, вроде бы плотно затянутого в частую медную ячею, и улеглась в Марьюшкиной родильнице, смертно прокусив боевую жилу. Дворцовый лекарь Данилко Жид потчевал немецким аптекарским зельем, полагал льду на живот, поил и корнем барбариса, и настоем кровохлебки и зверобоя, но не смог унять точашуюся кроввицу. Лекаря Давыдку Берлова из Немецкой слободы срочно скликали на Верх: тот давал царице вернейшего снадобья от кровотечи – вкладывал в хладеющую влажную ладонь государыни египетскую яшму, серо-зеленый в красных брызгах камень, потуже сдавливая в безвольной царицыной горсти. Но и самохвал Давыдко не помог. Тогда поскочили верховые боярыни к дворцовым нищенкам, что жили в нижней клетке под Красным Крыльцом, притащили их в спальный чулан к Марье Ильиничне. Богомольницы поили хворую освященной крещенской водою с серебра, да трижды окатывали накрест из чудотворного жбанчика, да смачивали грудь против сердца заговорной ключевой водою, нашептав на нее и вкинув в мису горячих угольев, печины и щепоть соли. Но... пришла беда – отворяй ворота; воистину от смерти не убежишь; и коли Господь попустил, своею кровью умоешься. Обложили царицу хлопковой бумагой и послали юного стольника звать государя.

Алексей Михайлович прошел в царицын Терем тайным переходом через домовую церковь; этим путем почасту бывал государь, чтоб любить супружницу; он вступил в опочивальню с какой-то дрожкой опаскою, так вкрадчиво, что не скрипнули жиковины неприметной дверцы, обтянутой обойной кожей. Встал у задней грядки кровати, ухватившись за резную соху полога, и сквозь пенное облако цветастой кисеи взгляделся в призрачное лицо жены, глубоко утонувшее в наволоке. Когда-то смуглое, кровь с молоком, скуластое лицо жены вдруг скоро вытончело, заострилось, и смертная белизна щек сравнялась со сголовищем. Прежде изумрудистые, такие любимые глаза жены стали какого-то крапивного, перестойного цвета, и в них застыла смутная талая полуулыбка. Царица вроде не видела мужа, она не снимала взгляда с подволоки, где художной рукою были выписаны страстные муки Христа; вялые, горестно полуопущенные губы пришептывали беззвучно Иисову молитву. Сердце государя вздрогнуло и облилось кровью. Он любил супругу, даже когда изменял ей мимолетно с верховыми боярынями (ведь матушка так часто ходила на сносях), и сейчас Алексей Михайлович устранился тому, что Марьюшка навсегда покидает его.

Царь сделал знак рукою, и верховая боярыня Анна Петровна Хитрова, низко поклонившись, с постно поджатыми губами удалилась из чулана. В золоченой клетке свистнула канарейка, сердито заворчал папагал; Марьюшка очнулась, выплыла из забытья, ласково взгляделась сквозь кисею в родное лицо. В голове как-то странно прояснилось то ли из песни, иль из старинного домашнего причета: «Прощай, милый, не горюйся, уезжаю навсегда; уезжаю-отплываю, не забудешь никогда...»

Еще подумалось неторопливо: снова солоненького поел, родимый, огурцов да грибков тяпанных гретых откушал, а после и опился квасов. Нисколько, сердешный, не бережет себя. И кто за ним досмотрит без меня?..

– Ишь ли, батюшко, помирая я, – выдавила слабым мерклым голосом, словно бы из груди вовсе выкачали воздух. В черевах пекло негасимо, этот жар проливался в подвздошь, и вся телесная мочь медленно вышаивала, как уголье в печи.

От жалости у государя слеза навернулась. Он, не чинясь, не доставая из зепи шелковой фусточки, надушенной французскими вотками, смахнул влагу тыльной стороной ладони, хлопнул носом. Но тут же пересилил слабость. В горле так пережало, что и голос захряснул.

– Подымешься, государыня. Вот те крест. – Перекрестился, добавил скрипуче: – Вспомни... И не так прижимало. Бог-от пасет. Неровен час и всякого загрызает немочь, да после и отпустит. Оклемается человек и снова как яблочко наливное.

Царица лежала, глубоко, бесплотно утонувши в постели, будто покоенка в белой домовине, покрытая смертными пеленами; из подушки выпячивался наружу заострившийся птичий нос. Две приступки, опушенные брусничным бархатом, вели к ложу; давно ли на руках нашивал жену в кровать и там горячо тешил ее, податливую и охочую до ласки.

– Нет, не подымуся, – помедлив, с тихой улыбкой возразила царица. Эта улыбка снова испугала государя.

– Не бери в ум, – горячо зашептал Алексей Михайлович. – Очнися от туги, душа моя. Все будет хорошо, слышь? Чего хоронишь себя допрежь времен? Почасту смерть за нами присылывает, другорядь и отступного вроде не даст. Да не всякого к себе забираывает. И она не вольна... Судьбы-то не перескочишь... Тебе, Марья Ильинична, помирать не время. У тебя детки по лавкам мал-малы, – бормотал государь, не решаясь выступить из-за кисейной завесы, будто хоронился за нею.

Вечер наплывал на Москву, и стрельчатые оконницы, взявшиеся морозным инеем, уже темно посинели. Свет паникадила загустел, пряно запахло воском и кровцою. Они вдруг замолчали, каждый думая будто и о своем, но мысли их сплетались. Нет, не смерти страшилась царица, но разлуки с благоверным... Тепа, ой тепа... Всяк тобою закусит да и выплюнет. Как без меня станешь?.. Грешна, ой грешна, богоданный, что отправляюсь не вем куда ранее тебя. До какой страсти приневолят архангелы, в какое место прикуют Тамотки? и коли взаболь не свидеться нам, вот и будет тот самый Страх, коего никакими медами не усластить...

Нутрянной жар вдруг устремился из брюшины в гортань, забил голову, но зубы, плотно стиснутые, застучали в лихорадке, и неуголимый озноб скрутил сердешную. Словно бы льдом обложили Марьюшку с макушки до пяток, так стало студно ей. И поняла тут христовенькая, что часы осталось ей жить.

– Может, детей позвать? – спросил царь, невольно отхватился от сохи и выгаился из-за полога.

– Нет-нет, – спохватилась Марья Ильинична, приподнялась в подушках, выпростала из одеяльницы покатые полные плечи, прикрытые полотняной сорочкой. – Согрей меня, Алексей Михайлович. Муж богоданный, может, и сглупа что примолвила... Морозит, ишь ли, всю, а внутри жар баенный. Спеклася, как сдобная перепечка... Князинька мой, я была тебе женою верною, любила тебя, мое счастье. И ты пас меня без острастки, с охотою. Уж не похуюлю. Уж тут тебя не ославить, и помнить буду и по скончании века, и ждать Тамотки стану. Куда деться,

милий? Куда мне деваться без тебя, Алексеюшко?! – вдруг вскричала государыня истлевающим нутряным голосом, едва распахивая жеванные в родильных муках белесые губы. – Не смотри на меня! Ой и страшная я! Вели, батюшко, гасить свет. К чему свет? От лампадок глаза шемит, водою смертной заливают...

Но не успел Алексей Михайлович и рта раскрыть, как что-то сдвинулось в государыне, будто махнули по лицу колонковой кистью, и по впалым щекам из серебряного бочоночка мазнули румян. Ах, да то ангел прилетел, прощаться пора. Марьюшка оживела, стала вовсе юной обличьем, будто на нее снизошла благая весть, дарующая долгой жизни; царица сшевелинулась в подушках, пытаясь приотодвинуть растекшееся беспомощное тело и уступить место. Ей казалось, что богоданный стоит где-то за тыщу поприщ от нее и не слышит сердечного зова. А государь действительно застыл истуканом у приступки, плечи, прикрытые лиловой епанчою, сникли, отекие ноги налились свинцом; Алексею Михайловичу хотелось присесть, невидимая сила притягивала его к постели. Царь прислушался, ему почудилось, что в сенях хихикнула постельница; в неплотно притворенную дверь сквозило, стоявший у порога в медном корытце цветной ночник, недоправленный мовницей, угасал, пламя свечи меркло, заливалось воском... Все творилось вокруг государя как-то не по-Божески, по воле распустихи, злой молвы, сглазу и напуску; позавидовали лихие супостаты государеву счастью и взгромоздили на его дороге медяную гору, кою не обойти, не объехать... Надо комнатным боярыням дать встряски, чтоб не забывались: вишь вот, двери полы и всякому обавнику в опочиваленку прямой путь.

– Алеша, где-ка ты? – вдруг простонала царица потерянно, замрелое тело снова выгнулось рыбкою, подпруживая дыханье, и взялось крупной дрожью; Марьюшке показалось, что ее развалили саблей наполь, в подброшье у самой родильницы стало так тяжело, словно насовали туда дресвяных окатных каменье, раскаленных в печи.

– Тут я, матушка, – прошептал царь. – И взаправду, знать, ты взялась болеть?

Алексей Михайлович грузно поднялся по ступенькам к ложу, откинул кисейный полог и с охотою опустился на край пуховой постели, стараясь не утонуть в ней; что-то подтолкнуло царя, и он, скидывая всякую чинность, порывисто принагнулся к жене, слепо нашаривая напухшие губы. Они оказались холодны, неотзывчивы и шершавы, как бы осыпанные дробным пашеном. Но царь пересилил мгновенную брезгливость, подтыкнул ладони под сголовьице, приподнял голову Марьюшки, прижал к груди.

– Але-ша, ой, Але-ша-а, – повторяла царица, уливаясь кроткими слезами. – Куда ты подевался, Але-ша?..

– Здесь я, Марьюшка. Эко тебя распалило. И куда лекаря-пройдохи смотрят?.. Я люблю тебя, княгинюшка, я тебя никуда не спущу...

– И не спускай... Веком бы так.

– Отдам нехристей в разбойный приказ... Считывают с черных книг лекаришки, да насылают, алгимей, всякой призеры и напуску. А я вот не доглядел. Ты прости меня, государыня, и грехи мои отпусти.

Царь гладил болезную по тяжелым, каким-то остывшим, негнучим волосам; когда-то шелковые, с каштановым отливом косы он так любил распрядывать, а после расплескивать по плечам, погружая в их глубину ладони.

– Ты, батюшко, не страшись. Ты в рай прямо. Куда мне до тебя... А где и спотыкнулся ты, так не с осердки и не по распутству... Блазило, и ты чурался, бежал прочь. И спотыкнулся. Это я грешница, прелюбодеица. И в смертный-то час охапила тебя, завистница, висну на шее...

– Очнися, матушка. Не клепли на себя понапрасну. Бог не оставит без призору твоей плодильницы, опечатает в свое время. Проснешься поутру, а уж здорова, как пасхальное яичико...

– Алеша, ты по мне шибко не убивайся. Хоть и была тебе пряником медовым... Долго не вдовей, не горюнься. Не насылай на царство печали и скорби. Веселися не натужно, коли нужда придет, и не постися через край. И Христос того завещал: де, чтоб не смел мирской человек

напрасно плоть мучить... Гли, милый, на кого стал похож? – шептала государыня, водя тонким влажным перстом по мужней узловатой руке, по набухшим до черноты росстаням жил. – Солоного абы прокислого много не ешь, с того на воду позывает, – подсказывала государыня, как истинная домовица-большуха, отъезжающая накоротко по монастырям с богомолем. И ни тени печали в просветленных, уже не здешних глазах. – Да бери, Алексей Михайлович, в жены девку здоровую, непорченную, несглазливую, не из разлива московских шептунов, что видом агнец, а нутром волк. Да Ивана-то Мусина не обижай, блудня, далеко от себя не отсылай парничка; хоть и скелотыш, но твоих, царских кровей. Не бойся, что люди скажут, но бойся, как Господь на то взглянет...

От последних слов смутился царь, кровь кинулась в лицо, и чтобы скрыть стыд и внезапные жалостные слезы, уткнулся в сголовьице, пряно пахнущее женою. Марью Ильинишну от долгих наставлений как бы опрокинуло в короткий сон, она забылась на миг, даже потеряв дыхание; и царь боялся шевельнуться, чтобы не потревожить болезную. Он дышал в щеку супруге, и блазило ему, что их слезы, так угодные Господу, сливаются в единый родник печали. Ах ты, Боже наш, помилуй нас.

А Марьюшка вдруг ясным голосом, будто и не задремывала, сказала государю, слегка колыбнувшись головою:

– Алексей Михайлович, приотдвинься от меня. Ты живой, а я смертью пахну... Попрыскай на меня из ароматника розовой водицей абы укропной. Ско-ро с трав-кой смешаю-ся... Посеюсь цветочком лазоревым под твой сапожок. Да ты не сосупи на меня, слышь?

Государыня разжала кулачок, в нем, как в скудельнице, покоился запотевший камень египетской яшмы. Держалась за него до последнего, как за якорь спасения, да ишь ты, не пособил родименькой, но увлек на самое дно. Прислушалась к себе: кровотека прервалась, да и откуда было взяться кровце, коли из самых глубинных боевых жил, омывающих сердце, источилась она по капле. Глаза у царицы округлились, а обочья свинцово посинели. Дыханье стало пресекаться, и больших усилий стоило выдать каждое прощальное словцо.

– Детей позвать? – снова тревожно спросил государь, уже зная верно, что светлый ангел прилетел за женою. Марья Ильинична слабо улыбнулась, не ответила на вопрос.

– Сбрызни на меня французской воткою, – попросила настойчиво, едва шевеля языком, облизнула губы: ей и на смертном одре хотелось выглядеть перед благоверным приглядчивой. Вдруг боль покинула тело, льняной белизны лицо разгладилось, стало прозрачным, как стень; тонкая жилка, почасту, замирая, билась на впалом виске. Крупная, тельная, дебелая, государыня как-то скоро теряла очертания, погружаясь в крахмальную наволоку, в копешку хлопковой бумаги, невидимой для царева взгляда. Марьюшке еще что-то хотелось сказать важное, и она, уставя взгляд на подволоку, где Сын человеческий терпел крестные муки, вдруг добавила:

– Алеша... Алексей Михайлович... Государь... Простил бы ты всех бессловесных. Кто окромя тебя простит? Не гони на закляние, не пять под себя силком, милый. Втихую-то и ольху согнешь... Иль не слышишь, как стенает люд? Родницу свою, Федосью Прокопьевну, пощади. Пусть и дура баба, но никто из земных не властен душе ее...

– Я бы радешенек, да... – торопливо воскликнул государь и всхлипнул обиженно, подетски, не в силах унять новых слез.

– Вот и хорошо. Вот и ладно...

Марья Ильинична устало смежила веки. Египетская яшма выкатилась из горсти на одеяльницу. Царь вздрогнул, решив, что отошла благоверная; взялся за шнур звонка, чтобы звать постельницу, но удержался. Торопливо подобрал камень, подул на него, протирая ладонью красные, холодно мерцающие искры, и зачем-то спрятал за пазуху в зепь. Марьюшка покоилась недвижимая, тихо остывая. Царь скользнул взглядом по малахитовому прикроватному столику, в растворенном зеркале-складне увидал чье-то набухшее, усталое лицо с мешками под глазами, каштановую бороду клочком, на голове бархатная шапочка вздыбилась еломкой, будто

под волосами прободились рожки... Ах, что же за зверь такой подглядывает за плечом? Государь даже обернулся с тревогою на сердце.

... Чего-то тебе втемяшилось, царь-государь? Знай, это Свет Божий вылепливает из потаенных сумерек твой истинный лик, коего ты страшишься. Почуй же, сердешный, самого себя сокровенного и ознобись от ужаса; озночки багровы от кровавой росы, а в зеницах сам дьявол угнездилися, злорадно усмехаясь...

Облик в зеркале, опущенном синим сукном, вдруг расплылся, утонул в сиреневой глубине, и понял Алексей Михайлович, что плачет нынче уж в который раз. Сквозь слезы высмотрел на столике хрустальные очки, когда-то подаренные им сыну Алексею, и, приставя к носу, сквозь шлифованные грани взглянул на жену; и увиделся ему алмазный сверкающий купол и внутри его крохотная невинная девочка с изумрудными глазами. Царь торопливо отнял очки, из костяного ароматника отлил на ладонь пряного травяного настоя и прыснул на жену. И Марья Ильинична вдруг шевельнулась, открыла глаза; еще хотела что-то сказать, но язык не послушался ее...

Царь позвал комнатную боярыню и, поцеловав жену в губы, тайным переходом ушел к себе в Теремные покои. В опочивальне у него стоял сосуд каменный нефритовый, оправленный золотом. Египетскую яшму опустил в кубок, налил белого ренского вина, принесенного спальником, и выпил.

Глава вторая

Часы стояла Федосья Прокопьевна в домово́й церкви, когда прибежал из царицыных хором с худой вестью нарочный посыльщик: де, государыня опочнула нынешнею ночью, и ей, дворской боярыне, четвертой по старшинству при Дворе, надобно обряжать покоенку в последний путь.

Морозову острогой под самое сердце ударило.

Спешить бы надо, без раздумки лететь, ведь самого близкого человека лишилась. Дворецкому Самойлову велела малый поезд закладывать без лишнего шума. Но черная весть и без колокольного звону людей на ноги ставит; по усадьбе голка покати́лась волною, в людских лучины запалили, раздвинули ворота конных дворов, все слуги прынули на ноги, чтобы срядиться немедля, не осердя хозяйку; теремные девки, не зная, чего пожелает боярыня, раскрыли сундуки и казенки, и почтенные шафы с верхним платьем, и чуланы с шубами и опашнями, чтобы боярыню охорошить. Вот и капитану вытянули за оглобли из каретного сарая, запрягли шестериком гнедых; фонари толклись на заулке, как июльские светляки, то вспархивая по-над снегами, то западая в сыпучие мартовские забои, еще не хваченные настом; скрип саней, крехтанье и уросливое ржание коней и мертвого подымут; все опочивальни, и повалуши, и клетки с подклетами растревожены суетою.

И странно было Федосье Прокопьевне подглядывать в темно-синие, чуть хваченные инеем репы слюдяной оконницы, забранной в узорчатую свинцовую ячею; словно бы в хрустальные очки смотрела на дно глубокого омута, где, дробясь на осколки, текла чужая неведомая жизнь. Боярыня замрело остолбилась, а сзади, смиря дыхание, столпились сенные девки с богатым платьем в руках. Глядели жалостливо на пригорбленные усталые плечи госпожи, обтянутые синим сарафаном-костычем, на янтарное ожерелье, тугим обручем обнявшее шею, на парчовый вишневый сборник на голове, из-под которого на затылок выбивались уже седые волоконца. Когда-то тяжелую темно-русую волосню и двум спальницам трудно было увить в косы, а ныне старушки ковыльные прядки так жалостно и неряшливо сникли из повойника наружу, как плакун-трава...

Оглянулась, махнула рукою, велела девкам ступать прочь. Лишь попросила на плечи шубу лисью с пухом и ожерельем бобровым, да на ноги чулочки горноста́левые, чтобы не ознобить плюсны. Постельница с укоризною, втай покачала головою; не знала того панафидница, что хозяйка днями тайно пострижена тихвинским игуменом Досифеем и отдана под начал старице Мелании. Одно ведомо постельнице: в таком сряде в государев Терем ход заказан. Но что боярыне Морозовой до тайных пересудов шептунов, ежли кольчужка, вывязанная самолично из коньего волоса, обнимает плоть ту же всяких железных юз, смиря любодейные мяса. Вот и вошка-то, коли засвербит под повойником, то и тогда боярыня не повелит девкам чесать голову: хоть и немилосердая тварь, но тоже божья животинка, не под костяной гребень уродилась.

Тихо, без шелеста и скрипа отворилась потайная дверь из чулана, где жили старицы-белевки: прослышав тревогу, по сердечному зову, как верная мати к духовной дочери своей, вступила в опочивальню кроткая наставница Мелания. Не поднимая тусклого острого личика, изжелта-серого от долгих постов и молитв, посоветовала строго:

– Давай, собирайся, дочи... Доколь медлить пустошно? Божье то дело покойников уряживать.

Федосья опустила́сь на колени, уткнулась в подол застиранного ветхого кафтана, призналась жалобно:

– Не ходить бы? Боюсь зверя рогатого, да дьявола носатого...

Имела в мыслях царя и патриарха.

– Э-э... голубеюшка! Кого страшишься, не ходя в пути? Страшен черт, коли во сне при-
снится. А на яву-то пристанет, так и открестимся.

– Под чужой устав идти, как под дьявола пластом лечь... Но и Марьюшки того пуше
жаль...

– Поднимайся с колен-то. Не возвышайся ломовато, да и не упадай понапрасну. Все под
Богом, дочи. Пришла беда в ворота – вари кутью, раздвигай столы панихидные. И не злобись
на царя без нужды, дитяtko. Он к тебе милостив.

... Да и как не милостив-то? Это Марьюшка Ильинична, Царствие ей Небесное, достуча-
лась до государева сердца, и сменил Алексей Михайлович гнев на милость, и вернул обратно
поместья, что, осердясь, отобрал под свою руку для новой роздачи... Но вернулись в дом Федо-
сьи Морозовой в надел для сына Ивана Глебовича починок Бокалды и Сергач, село Лысково
и Мурашкино с приселки, с деревнями и пустошами; да в Галицком уезде село Воскресенское
со всей округою; да село Холмец с наделками в Ржевской вотчине; да в Темниковском уезде
починки и пустоши, и бортные ухожья, и лешие озера, и сенные покосы на триста восемьдесят
четы...

А как зарились дворцовые челядинники на эти земли. Дворецкому Хитрому с семей-
ством все мало и мало, ухапливает под себя не щепотью и горстью, но охалками и беремем,
будто с собою хочет уволокчи все на тот свет; а и надобно-то станет землицы с сажень... Вон
Марьюшка Ильинична в золоте хаживала, с золота ела-пила, да прибрал Господь в свой час,
и лежит сейчас, сердешная, растянься на лавке, словно сухостоина лесовая...

С этими мыслями стояла боярыня середь полаты, пока укрывали лисьей шубою до пят,
да на голову вздевали лисий треух; две сенные девки взяли Федосью Прокопьевну под локотки,
чтобы весть во двор. И опять что-то показалось не по уму госпоже, от дверей повернула
обратно, огрузла на лавке, раскинув на стороны рыхлые полы опасня. И сказала с грустью,
оглаживая на коленях клин синего старушьяго сарафана:

– Как ты хошь, старица, но не лежит у меня душа в этот вертеп ехать. Там каждый угол
дворскими псами мечен, так и смердит. А глазами-то едят, да раздевают, кобелины. Будто
уличную б... ку...

– А ты не бери, девонька, в ум. Душу-то эдак вот, в кулачок, сожми, а нос-от в мохнатушку
спрячь, да и смело иди, будто никого нет. К чистому да совестному грязь не пристанет... Ты на
дворню не угрюмься, не сутырься с нею. Тоже ведь люди подневольные. Не всякого Бог-от сразу
привечает, а попускает во гресе; когда-то еще очнется тот человечина. А ты не возгоржайся,
матушка, что ко Христу скоро припущена... Ну да что зря говорить: ступай давай не промедля.
Мертвые живых не ждут.

... Ой, Мелания, ой, матушка сокровенная; каждое словечушко твое – золото да серебро;
и откуль, из каких глубин сердечных берутся те потаенные истинные слова, кои восколеблют
и самую унылую душу...

И подумала тут Федосья Прокопьевна: да и что я, всамделе, сама себя поедом ем?
Марьюшка ждет, лежит окоченелая, уже вся во Христе, меня, поди, заждалася душа ее любов-
ная, а я здесе-ка, во своем терему шириюсь, как воевода на кормлении...

И прижала боярыня наставницу к широкой груди, приклонила ее сухонькую головенку,
словно к высокой приступке, и понянчила возле сердца; черный платочек кулем, повязанный
вроспуск, пахнул росным ладаном и маслицем, и сухариками ржаными, и дымком курильницы.
Вот она, исповедница, судьбою отмеченная: сама, как конопушка, воробей подзастрешный, а
вся от головы до пят, будто единое Божье слово; рассудила разом, как от ковриги ломоть одно-
рушный отсадила ножом, и сказала: де, на, Федосья Прокопьевна, отъедайся на моих словес-
ных хлебах.

... Самой себя испугалась боярыня: ой, не выеден изнутри ветхий человек, так и клянчит
себе послабки, чтобы оступилась, дала воли ко греху.

И уже большухой, московской именитой вдовою, свойкой государю, пошла Морозова за дверь; и сенные девки не успели подхватить ее под локотки. Прочь, прочь!.. Что я, пирог слоеный, чтобы рассыпаться на крохи от встряски? Еще ноги, слава Богу, держат, и жилы не набрякли от многопирования, но, словно можжевельные корни, прочно пронизали тело...

* * *

На Пожаре, высоко взметывая пламя, зловеще горели сторожевые костры. Возле стрельцов увивались бродячие собаки, робея, жались к ногам. У рыбных рядов впаялись в мартовский снег сани, выставив в небо оглобли; мужики ночевали тут же, закопавшись в возы, иные паслись у кружечного двора. Боярыня не сразу свернула во дворец, но велела проехать к Васильевскому спуску. В Кремле гудели скорбные колокола, по стенам зорко стерегла воинская спира, гремя бердышами и топорками, порой била в тулумбасы, беспокоя ночь. Боярыня вышла из каптаны на Болоте, невдали от палаческой колоды, приказала челяди ждать; настуженный воздух пахнул рыбьей кровью, максой, требушиной и свежими огурцами. Наверное, с вечера привезли корюшку с Белоозера. По аспидному небу шатались сполохи, вороны угрюмо крыкали над иноземными торговыми лавками.

Боярыня, шаркая валеными пимками, осторожно спустилась по покати берега к урезу льда и будто угодила в погребницу, такая мертвящая тишина объяла ее. Глухо было, темно, хоть глаза выколи, за Москвой-рекою с протягом выли волки, прибываясь к церковным звонам. Щербатые кирпичные стены дышали стужей, казалось, за каждым уступом скрывались варнаки; всхолмленная небесная твердь нависла над головою, готовая придавить. И в груди Федосьи Морозовой тоже застыло все, как в черепушке, выставленной на мороз. Боярыне хотелось узнать глубину грядущего одиночества и сиротства, и тут она почуяла его: жизнь кончилась, незачем было продлевать ее, а Бог не призывал к себе. В ледяной погребнице, куда нечаянно сунулась Федосья, вся мирская шелуха разом опала с плеч, как нищее платье; словно голую, выставили архангелы боярыню на посмотрение пред Христом, чтобы узрел Господь, как в стекляннй склышечке, насколько черна ее душа...

Боярыня вздрогнула; ночной холод ознобил ее всю, прокравшись под подол костыча... Опомнилась. Зачем оказалась здесь? Чего нашла сокровенного?.. Да вот сподобилась тайне, как причастилась и соборовалась.

Федосья оглянулась, подняла глаза вверх, будто со дна лесной лощины, обросшей дубравником. На горе, в белесом зыбком облаке отраженного кострового света и небесных залысин, табунком толпилась челядь, упорно вглядывалась в толщу тьмы, боясь потерять госпожу. Боярыня всхлипнула от жалости к себе и вдруг с пронзительной остротой ощутила утрату; ресницы сразу склеились, а в груди не то чтобы облегчило, но все готовно приготовилось к скорби.

Федосья Прокопьевна скорым шагом пересекла заулок у рыбных рядов, залезла в избушку каптаны, задернула тафтяную завесу на окне, велела ехать ко Двору. И все время, пока тихой ступью попадали по Болоту мимо стрелецкой вахты и свертывали на Никольский мост надо рвом и сторожа с фонарями, проверив поезд, со скрипом отворяли железные ворота в башне, пропуская в ночной Кремль каптану, окруженную многой челядью с батогами и санными девками, стоящими у переднего щита и на наклестках саней; и пока ехали мимо Чудова и Борисовских дворов к Успенскому собору, наконец-то остановясь на Соборной площади в затулье близ Благовещенского храма; и после, когда скорым шагом спешила на внутренний Постельный двор за переграду мимо церкви великомученицы Екатерины, – так вот, во всю эту дорогу у Федосьи было каменно-застывшее лицо и никого не видящие глаза, по-рыбьи округлившись, похожие на мартовские льдинки, в глубине которых свернулась розоватая слеза.

В сенях царицынских хором толпилась служба; пахло талым воском, ладаном и тем неуловимым сладковатым духом, что посещает дом сразу с приходом покойника. Боярыня

сбросила лисью шубу на руки мовнице, жестко протерла ладонями лицо, чтобы снять мертвящую личину, перекрестилась пред надвратным образом Матери Небесной; две отроковицы, облаченные во все черное, распахнули пред нею дверь в спальный чулан.

Федосье показалось поначалу слишком людно в опочивальне. Хлопали двери, не стережась, туда-сюда шаталась челядь; ходил крадущимся валким шагом крестовый поп Феофан и кадил, гремя цепями курильницы; крестовый дьякон читал Псалтырю; теремные нищенки, обмыв государыню в мыленке и завернув в смертное, принесли покоенку прямо на лавке и поставили посреди чулана; мовницы скатали постелю в трубу и вытащили в сени, кисейный полог связав в узел; царицына кровать без глубоких пуховых перин, сголовниц и крахмальных одеяльниц осиротела, и спальня сразу так опустела, словно хозяйка съехала в новые хоромы. А разве и не так?.. в Христовы чертоги отведет Марьюшку шатающаяся средь небесной тверди зыбкая лестница. Но праведного жития была Госпожа, и спосыланные ангелы помогут вскарабкаться душе чистой к подножью Вышнего престола.

Ее же хладеющая безмолвная оболочка, завернутая в саван, как гусеница в белоснежный кокон, недвижно покоилась на лавке. Напоследок вошли в чулан мамки, вынесли прикроватную колоду, обтянутую бархатом, и комната как бы совсем отъединилась от живого мира, приготовилась к похоронам.

Федосью тут ждали. Она еще с порога поняла это; ждали и как бы не верили, что явится суемудрая в «вертеп». Насурмленные брови Анны Ртищевой безмолвно взметнулись и опали. С двух сторон лавки стояли четыре креслица немецкого дела, обитые золотной парчой. И как бы по странному списку на трех подушках, горестно пригорюнясь, сутулились три Анны: Ртищева, Хитрова и Морозова.

Сестра покоенки, Анна Ильинишна, комкала в ладонях батистовую фусточку: наплакалась, сердешная, до дурноты; да и как не уреветься, ведь не только родную сестреницу спровела в вечную разлуку, но и потеряла надежную тропу в Терем. И Федосья Прокопьевна, глядя на свойку, искренне пожалела ее, простив сразу все грехи. Действительно: с глаз хитрая, в словах увертливая, голосом шумливая, повадками нахальная. А разгостится да спознается, – такая ли добрая и развеселая; и шутку иной раз такую подкинет, что и молодой разбитной женке не скроить... Анна Ртищева, хоть и близкая родница, но гордовата и ломовата, Никоновы отирки, любит, чтобы все по-ейному стало, чужой воли не терпит и всякую святую душу под свой норев приклоняет... Анна Хитрая с виду сама простота, а с исподу – змеюка подколотная, всю царицыну жизнь под себя уноровила, только что в кровати не ночевала. Два-оба с Богданом, как псы цепные, улеглись у престола...

Опустилась Федосья Прокопьевна в креслице и, не глядя на верховых боярынь, принагнулась к упокоенке, поцеловала скрещенные руки и губы, и лоб усопшей. А, чего там: смерть не красит человека. Ведь как крепилась Федосья, велела себе настрого держаться, чтобы ни слезинки из глаз; знала себя, лишь дай послабки, а там прихватит до родимчика, не остановить. И вдруг горло запрудило, ком приступом накатил из груди, Федосья Прокопьевна ойкнула, не сдержалась, заскулила по-собачьи, сбивая к затылку сборник, выцапывая седые пряди себе на глаза, словно собралась волосами обирать с лица слезы. И завывала в полный голос, запричитывала, плотно ударя ладонями по коленям. Поди, до государева Терема донесся пронзительный воп боярыни: «Ой, да на кого ты нас и спо-ки-ну-ла-а-а...!»

Анна Ильинишна вздрогнула, обняла за плечи свойку, прижала к груди, чтобы не рвалась печальница к усопшей. Анна Петровна Хитрова подумала с тайным торжеством: «Сутырщица-поперечница, злая раскольница. Притащилась в хоромы в сарафане. На кого взнялась?.. Повой, пореви. Это и ты спехала царицу в могилку допрежь времен. Марьюшка-то покоенка была поноровщица-потаковщица тебе, много сердца поизорвала, улещая государя... Эх вы, на горе стоите, да никого не видите. Людей-то ни во что не ставите, пока живы те. Пусть слеза свинцовой пулей застрянет в сердце. Авось поумнеешь, суемудрая...»

– Ну, будет тебе убиваться-то. Мы не реветь сюда созваны, – скрипуче осадил Хитрова, стараясь оттеплить голос. – Мертвых из могилы не принашивают, – добавила невпопад. Хорошо, никто не расслышал последних укорливых слов. Тут сенная девка внесла жбанчик сыченой воды, налила в кубок, и Анна Ильинишна напоила страдницу, будто уснувшую на ее высокой груди. Сомлевшей Федосье Прокопьевне стало так уютно, спокойно от горячего телесного духа, волнами истекающего от свойки. И не то чтобы вдруг стало стыдно за свой воп и кликушество, но неловко оттого, что она, Федосья, как бы отняла, присвоила главное горе царицыной сестры.

Надсада потиху отступила от сердца, в горле унялись клекоты и всхлипы. И вдруг из подклети, где жили теремные нищенки, по обогранным колодцам, как из подземной таинственной часовенки, просочилась в спальный чулан духовная песнь, словесно невнятная, но в звуках удивительно приемчивая к душе. Старицы пели с пригласиванием, высоко вздымая голос и взойкивая. Федосья Прокопьевна невольно прислушалась и тут совсем очнулась, глубоко вздохнула. Колыбнулось тонкое пламя свечи в руках покоенки, и царица умиротворенно улыбнулась, благодать и нездешний покой разлились на крахмально-белом вытончившемся лице.

«Ой, что же я улилася? Подумают, притворщица, – укорила себя Морозова. Тайная постриженница почувствовала власяницу, жестко прильнувшую к увядшим сосцам и к впалой родове с провалившимся пупком. Как бы сама мать – сыра земля позвала: „Фео-до-ра-а“, – и украдчиво обняла боярыню-монашену. – Ведь слезами дорогу не торят. Христовы невесты плачут потиху и роняют слезы, как свеча ярый воск, чтобы каждой каплею пронимало душу насквозь».

Морозова приотщипнулась по-бабы, расправила складки синего костыча на коленях, придернула вниз сарафан на валяные переда черных пимков, усеянных каплями ворсистого талого снега; и снова, как прежде в сенях, жестко растерла ладонями, размяла коченеющее лицо. Будто холод от усопшей проникал глубоко в Федосью и выстужал ее всю.

«Прежде с нею экого не бывало, – досадливо подумала двоюродница Анна Михайловна Ртищева; она несклонно сидела напротив, будто проглотив аршин, с высоко поднятой головою, по-птичьей, из-под крутых коричневых век зорко приглядывая за Морозовой, как площадной расправы подьяк. – Что же она, привереда, срядилась в царев Верх, как последняя скотница во хлевище? Не зря бают, что монастырь на дому устроила... Келейниц прячет по погребницам да в подызбице».

А душа царицына тем часом витала по чулану, сыскивая такого места, чтобы, не выпаривая в окно, вместе с тем видеть все хоромы с чадами и домочадцами; и стены, такие прочные снаружи, куда, казалось, и мышшь не протянется, стали вдруг прозрачными, как родниковая вода в хрустальной скляннице; и каждую царевнину спаленку, охраняемую зоркими мамками, она посетила, проникая в родную кровинку через дрожащие во сне ресницы и невинное дыхание; царевич Алексей, ее любимец, стоял, растерянно угрюмясь, возле аспидного столика и сам с собою играл в шахмат, подолгу грея в ладонях тяжелые костяные игрушки; вдруг не удержал королеву, сронил в глубокий шемаханский ковер; нагнулся за фигурой – что-то мягко-нежно, словно опахало из павлиньих перьев, мазнуло по виску, и отрок кинулся лицом в подушки и заплакал горячими слезами, жалея маменьку, не желая с нею расставаться; Алексей Михайлович, несмотря на поздний час, стараясь рассеять смуту в черевах и нудное нытье в боку, снова налил в нефритовый кубок белого ренского и выпил, унимая не столько боль, сколько сердечную тоску; ему бы сейчас в царицыных хоромых быть, где остывала благоверная госпожа, и уряживать вместе с верховыми боярынями в последнюю дорогу, но вот по заповеданным Дворцовым уставам нельзя мешать женским срядам.

Спальники сторожили по лавкам каждый знак государя и, не зная, чем помочь его горю, искренне желали, чтобы Господь наслал на царя опойный сон. Алексей Михайлович присел к столу, выудил из серебряного ставика лебяжью остро заточенную тростку и принялся писать

царице прощальное письмо, с тем чтобы положить его тайком во гроб. Ставня, плохо ли закрытая на засовец, иль от чьей неведомой руки, но вдруг гулко отпахнулась, так что Алексей Михайлович болезненно вздрогнул, и в продох влетела белая голубка с рыжей короной на голове, опустилась на переднюю застенку раскинутой ко сну постели и загулькала свирельным горлышком.

Дурной знак! – всполошились спальники, не зная, кого винить, кинулись к ночной незваной гостье, обступили кровать; голубица заметалась по опочивальне, вскружила по-над головами и вдоль стен, взмахом крыл потушивая витые свечи, но закогилась в тафтяной завесе полога, заплелась в ней и, трепеща, замгнула в ужасе глаза. Царь велел осторожно выпутать птицу и подать в руки. У нее было горячее, знобкое, скользкое тельце, сердце готово взорваться в атласной грудке, и заполошный стук его упруго отдавался в ладонях, прося милости. Государь бережно подул в пестрый хохол, и голубка, уверясь, что жива пока, открыла змеиный, какой-то блестяще-жесткий, непроглядный чернильный зрак, обведенный розовой каймой...

Нет-нет, то не Марьюшкина нежная душа посетила. Ей-то что за толк отлетать от домовины? поди, няньки уже поставили на подоконье тарель с просыным зерном и водицы корчик, чтобы не оголодала, сердешная, и Марьюшка, тоскуя, уместилась где-нибудь поверх канарейных избушек и досматривает, как спроваживают ее из мира земного родня и челядь...

От этих мыслей что-то оттепило в груди, царь вздохнул освобожденно и выкинул залетку в ночной морозный кудрявый морок, густо завесивший окно. Сам же захлопнул ставню и набросил крюк. Стольники, чуя укоризну и скрывая растерянность, снова расселись по лавкам, принялись вполголоса судачить, обсуждая случай, припоминали пришедшие в ум досюльные приметы. Государь слушал их вполуха, уверившись, что прилетал вестник за ним; он отбросил сомнения и древние прилики и, минуя сени, где толпились бояре, отправился к Марьюшке.

... Царица лежала на лавке, как фарфоровая кукла, губы уже обвело синим; в подглазьях и на крутизне выступивших скул проступила рыхлая ржавчина.

– Чего расселись? Чего рассупонились? – вдруг всполошилась Анна Ильинична. – Расплылись, как бражное сусло. Христос-от не ждет распустих... Кто ко времени на запятки не вскочит, тому в прибавку сто лет терзаний.

Четыре свойки, припомнимся, принялись уряживать покоенку. Убрали волосы, покрыли золотной скуфейкой; из суремницы, низанной жемчугом, с помощью спиц вычернили брови и ресницы и седатые паутинные волосы на висках; будто языческую куклу, толсто умазали царицу белилами и впалые щеки нарумянили турецким баканом, и губы навели багрецом. Федосья Прокопьевна подавала боярыням коробочки и бочечки яшмовые, и кипарисовые шкатунцы, и погребцы сандалового дерева, клеельницы и скляницы, и ароматницы, стараясь не глядеть на усопшую, как бабьими руками превращается царица в труп повапленный, теряющий всякое сходство с родименькой Марьюшкой, подружней и заступленницей. Боярыни с таким усердием охорашивали мертвенькую, так вошли во вкус, прикусив язык от старания, с таким тщанием мешали белила и краски и прыскали гуляфными вотками из фарфурных скляниц, будто на брачное ложе собирали покоенку.

«Ой, матушка, – думала Федосья, – что же ты не посхимилась, сердешная, в крайний час? как бы ладно, уютно в ряске лежать, да в скуфеечке и в полотняных ступнях. Невинное Божье чадо! Бог-от чует безгрешных загодя, на сто лет вперед, и подгадывает к себе, как Христовых невест ко своему венцу. Вот уж перекосит его с обиды, будто укусу изопьет...»

... Вмешаться бы, да заново умыть Марьюшку родимым простым костромским мылом, согнать с чела мертвенную усталость и в хладные изболевшие уста влить живой заговорной водицы...

«Ой, миленькая, как мне без тебя жить-то-о?!» – беззвучно всплакала Федосья и, чтобы не взвывать снова в голос, кинулась в сени, где толпились мовницы, постельницы и рукодель-

ные мастерицы, мамки и комнатные девки. И тут челядь, как по зову, рассыпалась по клетям, к нижнему рундуку, забились в повалуши и чуланы; в переходе, как на грех, появился царь, Федосья Прокопьевна вздрогнула, проглотила слезный ком и растерялась не от страха, но не зная, куда девать себя, как повести; боярыня так давно не видела государя и, часто слыша про гнев его, вдруг зашла душой, обмерла. Государя, отступя шага на три, провожал дворецкий Хитров, за ним сгрудились грудастые стольники, и в той ватаге увидела боярыня и своего сына, юного Ивана Глебовича...

Щетинистые брови царя удивленно вздернулись, когда разглядел боярыню в пестрядинном холопьем сарафане. Царь остановился, не доходя сажени; Морозова как бы перекрыла ход в спальный чулан...

Федосья Прокопьевна простила бы царя, если бы увидела его в несчастье, с почерневшим от горя лицом. Он же был в лазоревом зипуне и легких сафьянных, шитых золотом чувяках, лишь черная байбарексовая скуфейка напоминала о туге. Мягкий перелив от платья беззаботно оттенял какое-то светлое, иссмугла лицо; в каштановом ожерелье бороды червленно горели, почти пылали губы, сложенные сердечком, голубые глаза были безмятежно сонны.

«Ах кот, ну и котина-а, – мстительно, несправедливо подумала боярыня, скоро загораясь сердцем. – Мало ты шастал по повалушам, снимая сливки, не убоясь любодейного греха. Вот и радость отныне, не станет попрека и укора. И что тебе совесть, ежели стыд порастерял и самого Господа не чтить, изгнав из своего Дома...»

Но она поклонилась низко, скромно отступя в сторону, потупила взгляд. От царя не укрылись припухлость зареванного лица, синие пятки под глазами. Но царь помнил еще просьбу покойной и, отделившись от челяди незримой стеною, когда всякое слово становится уместным, вдруг поймал широкий, внапуск, рукав белоснежной сорочки и спросил грубо, властно:

– Федосья... Что ты бегаешь от меня, как черт от ладана? Царица помирала, просила даве за тебя... Иль я басурман? Иль на мне рога бесьи?... С Соловков вот тоже шлюют подметные листы: де, я рожок антихристов. На, пощупай.

Царь порывисто принаклонился, содрал с головы байбарексовую еломку, волосы просыпались на лоб волною; пред взором Федосьи мелькнул вроде бы заячий хохолок... Эко, вот и царь поседател; не годы убеляют, а тревоги.

– На-на... Ты щупай! – требовательно настаивал государь и, напирая на боярыню, прижимал ее к стене.

«И то верно, что шиш. Вон донимает, бодучий. Да и не один, поди, рог, а все три», – почудилось Федосье Прокопьевне; ей так захотелось потрогать под клином волос, но она испугалась, опомнилась, отдернула руку.

– Кто я? – спросила жалобно. – Червь малый. На мне грехов изнасажено, как сажу в печной трубе. Спусти меня, государь, дуру-бабу. Дай помереть во спокойе. Иль ссади в монастырь. – И вдруг призналась глухо: – Вот все плачут из-за тебя, государь. А я – по душе твоей. Как уголь черна...

Алексей Михайлович крякнул, отступил на шаг, стемнел лицом, в глазах появилась так знакомая челяди сполошливая гроза. Федосья Прокопьевна даже призамгивала глазами, ожидая удара. Но царь опомнился, скрипнул зубами, а сказал вяло, сипло шепелявя, словно порастерял зубы:

– Ох, Федосья... Я ли тебе не Отец? Вот и сын твой одинакий, как батожок возле меня. Что ты церкви бежишь, как бес от просвирки... Все сблудили, а ты одна на тропе? Да коли любишь нас, то и сойди. Вот тебе совет...

– Отец мне один – Господь Бог. Это вы Бога не страшитесь потерять, а я боюсь... И на что мне ваши хлевища? Можно и дома молиться; затвори клеть и там помолись. Господь вездесущ, увидит и услышит меня, грешную... Господи Иисусе Христе сыне Божий, помилуй мя... Ежели и

я струшу, государь, да обмануся ласковостью словес твоих, так кто подопрет праведников, что немотствуют в темничках?.. Ты бы очнулся, батюшко Алексей Михайлович. У тела матушки бездыханной, что завещала всех простить, пришел бы в ум, – вдруг резко добавила боярыня. – Ино гляжу на тебя, а будто спишь. Не чуешь, бедный, что на твоей главе беси уж гнездо свили, – досказала шепотом.

И прижамурилась в ожидании казни. Такой прыти от себя не знала. Эко разнесло на дорожной колее, и вот опружило, и растерло саньми. И тело стало, как лист баенный, как тощая речная камбалка, что и тени своей боится. Переждала Федосья малость, приоткрыла глаза; царь покачивался перед нею с пятки на носок, задумчиво жевал ус. Поостерегся, кулаком не ошавил промеж глаз. А по заслугам-то и надо бы... Эх ты, тетка, налимий бок... И показалось Федосье Прокопьевне, что в государевых зеницах скользнула веселая искра и пропала. Да нет, помстилось: с чего Алексеюшке радоваться?

И вдруг такая благодать накатила, как бы знойным июльским ветром скружило голову. Засмеяться бы, запрокинув небу лицо, но грешно. За стеною Марьюшка лежит во гробех, и душа ее безгрешная сторожит всякий чих. И подумала Федосья Прокопьевна, зажимая греховные, какие-то кобыльи радости: ну и пусть сронит каженик голову мою с плеч, как капустное ядро, иль в костер живьем вкинет. Пусть!.. И от этой мысли легко стало, что наконец-то перешла крайнюю засеку и теперь уже и бояться нечего; вот перекрыла себе все дороги во Дворец и отныне на всяком совете синклита и черном соборе ее клясть не устанут; но зато отворила нараспах пути во Спасение, и оттого так вольно тоскующему сердцу. Объяснилась с великим господином, и осталось лишь причаститься и собороваться...

– Не знаешь ты удержу, дура. В голове ветер, в промежье дым. Сатанина ты, б... , – по-мужицки, презрительно сплюнул государь под ноги строптивнице и, холодно отстранясь, ну прямо обдав Федосью Прокопьевну стужею, вошел в опочивальню.

Следом четверо стряпчих внесли дубовый гроб.

Федосья же устремилась вон из хором и сына вроде бы не заприметила. Спустилась к переграде почти бегом, миновала вахту боярских детей, а спиною все ждала окрика, тычка царева слуги. Сенные девки встретили госпожу, набросили на плечи лисью шубу, надвинули на голову треух, подхватили под локотки...

В Успенском кончалась полунощница; уже, звякнув, упал из проушины железный запорный крюк, из притвора в полураспахнутую дверь пролился изжелта-лимонный теплый свет; курчавый облак пара выскользнул на волю. И вдруг что-то похожее на зависть горько колыхнулось в груди, и стало Федосье так неприкаянно, жалобно и одиноко, что впору взвыть. Те богомольники, что выходили со службы на паперть, были в груди, в скопе, в одной сходке, под одной покрывальницей, под одной священнической епитрахилью, дышали одним церковным воздухом, причащались от одного святого хлебца, испивали одного винца; и лишь она, боярыня Морозова, порастеряв в пути всех близких по подвигу единоверцев, осталась нынче совсем одна, как бесплодная смоковница среди знойной пустыни, полной гадов, и ни капли живой влаги не сыщется, чтобы напоить тоскующее сердце. Ведь когда душа полна светлой любви, то и хрустящих акрид хватит, чтобы напитать грешные тела...

На Ивановской горел в ночи костер, шатались тени, сторожа, звеня бердышами, грелись, с хрустом перетаптывались на подмерзшем снегу. Московки спешили домой, одна, вроде бы знакомая обличьем, вдруг обернулась и с неожиданной злобой выплеснула прямо в лицо боярыне:

– Видит Бог, в аду тебе гореть, тетка...

– В аду, милая, в аду, – торопливо согласилась Федосья. – Только бы вам Господь поволит... Христос вас спаси...

Глава третья

Царь скрылся в опочивальне. Дворецкий Богдан Матвеевич Хитров, молодовитый, рыжеусый окольный с обритой бородою, встал у двери, поманил к себе вызолоченной булавою стольника Морозова. По полу вдоль стены в медном коробе стояли свешники и слюдяные фонари с цветными шибками, свет от них подымался к потолку пестро-тусклыми рассеянными столбами. По лавкам наособицу расселись спальники в червчатых ферезеях и шелковых зипунах и, улучив минуту, чутко дремали; вязкие на ухо и глаз, они мгновенно погружались в верхний сон, скоро впадали в забытье, хотя все тело, казалось, жило особым слухом и каждый неверный шорох и тончайший скрип тут же подымали на ноги, заставляли хвататься за клинок. В этих-то спальниках в ночные долгие часы и состояла надежда государя; они были его броню, его латами и кольчужкою, всегда готовые свое холопье сердце подстелить под сафьянную царскую ступню...

Иван Глебович поймал короткий знак, подошел неслышно, на пальцах, словно канатоходец, перебирая по войлоку зелеными сапожонками, и кожаный терлик до пят, будто змеиная шкура, плавно струился вокруг его гибкого стана; зарево румянца, несмотря на ночь, горело во всю щеку, присыпанную нежным персиковым пухом, ус струился над припухлой губою, но вокруг глубоких янтарных глаз уже легли серые сумерки усталости; не высыпался выюнош, и служба от гулящей до гулящей во многие дни выпивала силы. Хитров ревниво восхитился стольником, невольно вспомнил и себя таким и, чуя себе угрозу, сказал скрипуче: «Вот видишь, Иван Глебович, горе-то какое, а?..»

Морозов вспыхнул, пожал плечами, потушил взгляд, бархатную круглую шапочку, комкая, стянул с головы; в правом ухе, сверкнув алмазом, качнулся круглый диск серьги. Стольник только что проводил тайным взором мать, ее согбенное тело в старушечьем сарафане; он так хотел заглянуть в зареванное, опухлое лицо боярыни, чтобы прочесть ответное чувство, но мать миновала сына, как чужая...

«Эх, и почто мира-то нет меж има? – подумал с грустью. – Два родных, любимых человека ратятся на ножах, не могут пристать сердцем друг к другу...»

Дверь вкрадчиво отворилась в жиковинах, даже страхась скрипнуть в таком безутешном горе, и бесшумно, на цыпочках вышли стряпчие с черными полотенцами через плечо. Дворецкий посторонился, не снимая, однако, взгляда со стольника. Тот покорно уставился себе под ноги, ожидая приказа, смолевые непролазные волосы торчали копешкой, и в самую-то молодецкую рань уж посеялось на теменце белым снежком: не годами рос парень, но часами. И хоть вон на какую гору, почитай с колокольню Ивана Великого, вымостился при Дворе худародный алексинский дворянин, завладев многими вотчинами и поместьями и свою родоу притулив в кремлевских повалушах, но сейчас Хитров с какой-то недоуменной враждою глядел на стольника и мрачно завидовал ему: ведь все драгие шемаханские ковры выстелены стольнику под ноги с младых ногтей, только ступай горделиво, не спотыкнувшись; третьим по богатству после самого государя и царева дядьки Никиты стал нынче Иван Глебович, он как бы своей черной бархатной шапчонкой с головой упрятал Хитрова, заколдовав того в безропотного ягненка... Да и тетка-то Анна лишь в верховых боярынях, а Федоска, эта черница-кобылица, в приезжих, и не надо ей в день да в ночь торчать в хоробах, услуживая во всякой прихоти, боясь прослыть в неугодных.

Юный стольник поднял стеснительный взгляд, и Хитров не успел согнать кривую усмешку; в выцветших голубых глазах еще плавал злой морок. И посоветовал дворецкий треснутым голосом:

– Иван Глебович, дал бы ты матери наук, ввел в ум. Чего она, безумная, ерестится противу царя, как моль на пушнину, и других с толку сбивает? Что ей, жизнь не в пользу иль жить

не хочется? – Хитров посуровел, стиснул булаву, как боевую палицу. – Не тебе под материной юбкой ходить. Сам хозяин... Коли уселся на конь, так чуй стремя да плеть. Земля-то, малыш, близко под копытом, да неутешлива, как грянешь. Иль не боишься падать?

– Не боюсь, Богдан Матвеевич, сковырнуться. Земля наша матушка мягше пуховой перины... А Федосье Прокопьевне я не отец, чтобы вразумлять. Яйца курей не учат, – по-стариковски рассудил юный стольник.

Он осекся, не успел договорить, круто осечь дворецкого, чтобы не лез в чужой монастырь с уставом; тут из чулана, будто заговорщицы-притворщицы, выпятились с поклонами три Анны. Хитрова поманила дворецкого за собою, затаилась в сутебок ценинной печи, зашептала, в чем-то настойчиво пытая Богдана. Иван Глебович невольно наострил ухо, и послышалось ему, будто шипит змея подколодная: «Видал-нет, как Федоска Морозова ускочила, будто нашпарили. Ишь выставляется, безумная... Сама из житенных высевок едва слеплена, а выдает себя за перепечу из княжьего выводка. Ты, Богдан Матвеевич, не солодишь пред има, пуще на ейного выродка нажимай, без послабки. Коли служить взялся...»

Наверное, поблазило стольнику, ибо когда вышла боярыня из-за столбовушки, то вдруг одарила Ивана Глебовича сусальной улыбкой и отбила поклон.

* * *

... Что, царь-государь, горюшица призатаенная, не сыскалось тебе места во всем Терему, чтобы без пригляда облегчить сердце? Хоть и погнал прочь из спальни всех доглядчиков, но присмотришь пуще, и будто из каждой проточинки и пазушки в стене, из ставенки и картинной рамы с персонами тайные приставы дозируют твое горе... Да ты не робей, Алексей Михайлович, не бойся подпазушного клеща, что впрыскивает яд без боли, но страшишь зрака Божьего, от него-то и чуешь испуг и ломоть в душе...

Стихло в чулане, не слышно чужого вздоха, и за дверьми могильная тишина, словно бы вся вахта спальников ушла в запойный сон, и лишь Богдашка Хитрый неотступно караулит у ободверины, чтобы лисьим умом своим скоро уловить тайное твое желание.

А Марьюшка в повапленном гробу возлегла, как уряженная, раскрашенная кукла. Что ты окаменел, как мореный дуб? иль ноги твои остамели, налились водянкой, вот и боишься оторваться от дверной скобы, как бы не упасть.

Не кручинься много, милый мой, безутешливый, не убивайся долго, того Господь наш не любит, а маленько поплачь, вырони слезу; ведь то радостная печаль навестила тебя, к Богу в райские кущи убыла голубеюшка с беспечальным вздохом...

Царь-государь, покорно склони выю, не упрямясь, не взглядывай с темной надеждою на гроб, укутанный в прозрачные пелены, вроде бы воспаренный над лавкою, как челн, покачивающийся на воздушях; хоть властью на брэнной земле ты вроде Создателя на небеси, но всей твоей тленной мощи самодержца не хватит, чтобы вдунуть малую толику живого огня в одеревеневшие, уже ломкие уста. То лишь Христу нашему под силу бы, но и Он, Благодетель, ждет восстанного означенного дня, чтобы поднять с погостов к вечной жизни всех верных своих.

... Царь решился наконец, деловито прошел к тяблу, с печальными вздыханиями и влажной пеленою в потемневших глазах оправил фитили елейниц, сощипнул нагар, подлил маслица, тяжело прихватывая грудью душного воздуха, протер иконы влажной губкой, опустился на колени, а после и вовсе растянулся на полу, прося Спасителя о милости, и невед сколько пролежал с непролившейся слезою в озеночках. Очнулся, с трудом на ноги поднялся, подсыпал пашенца в тарель, подлил из серебряного кувшина родниковой воды в скляницу: отведай, Марьюшкина душа, последней земной ествы, чтобы хватило сил взняться крылами по небесной тверди. И вдруг скрипнуло что-то сзади, горготнуло, едва уловимый всхлип донесся до слуха. Вздрогнул царь, устрасился и, подойдя к домовине, с любовью оперся двумя ладо-

нями о взглавие его, всмотрелся в покоенку... Да полноте, ведь оживела матушка, вон и ресницы насурмленные вздрогнули, и натертые румянами губы изогнула улыбка, и грудь всколыхнулась так, что полыхнуло пламя свечей, вон и влажная испарина просыпалась на челе росую, и упругая дождинка сочно упала с расписной подволоки на переносье царицы, закатилась обратно в рыжеватый родничок слезника и там студенисто замерцала.

... Господи, батюшко государь, да ты никак плачешь?!

Толстые восковые свечи в посеребренных панафидных столицах горели ровно, без треску по четырем стенам домовины, золотистый туск, словно тончайшая июльская солнечная кисея, приокутывал лицо Марьюшки.

«Упокой, Боже, рабы Твоя и учини ея в рай...»

Царь присдвинул со лба венчик, поцеловал жену в тонкую морщину, расщепляющую лоб напополам, и вдруг всхлипнул, прижался к родному обличью, с какой-то надеждою впитывая студеной холод, чтобы навсегда укупорить его в своем сердце; потом облобызал лимонной желтизны пробежистые тонкие персты, пахнущие елеем, ароматными вотками и чужим сладковато-пряным духом, и тяжелое, устюжской чеканки распятие на груди с небесной чистоты эмальями и зернами багровых рубинов, так похожих на капли Христовой крови. Государь зачем-то воровато оглянулся на дверь и, тайно казня себя за языческое малодушие и неизживаемое детское простодушие, напитанное сказками мамок и песнями дворцовых нищих, просунул под вишневым бархатом тугого огорля, низанного алмазами, прощальное свое писемко; а потом с придиркою оглядел затею: не обнаружат ли ее случайно крестовые священники и дьяконы.

Шел девятый час ночи, когда вовсе очнулся государь, а сердце остекленело в тупом спокойном, и в самой глубине его, как в драгоценной хрустальной скляшечке, навсегда поместилась жена. Царь встал за гробом и начал честь псалмы, мерно покачиваясь и почасту взглядывая на усопшую; он словно бы вместе с Марьюшкой примерялся к небесной лестнице, к ее шатким ступеням и поручам. Эх, ветер-то как разносит по-за облак, аж в ушах свистит.

«... Помяни, Господи, Боже наш...»

Марьюшка покоилась во гробу с радостным живым лицом, и натертые помадою губы приоттягивала безмятежная улыбка, словно покоенка утешала оставшихся: де, не горюйте, роденькие... кабы знали вы, ведали, какое счастье помирать-то.

И вдруг нелепо подумалось царю: «С мертвыми-то куда легче быть, чем с живыми».

И позавидовал Алексей Михайлович новопреставленной.

Глава четвертая

Бывает, что и один день за вечность покажется, не знаешь, куда его деть; а как дождешься ночи, то и тогда сон нападёт тяготящийся, с борозды на борозду, словно адскими лемехами вывернули все в голове наизнанку.

... Федосья Прокопьевна, матушка, не майся попусту, не скрипи, как старый очеп, войди в ум и, полагая каждый прожитой день за последний, живи праздной столбовой боярыней на пуховых перинах и попивай меда с вотками... Да, пожалуй, пустое подначивает бес за плечом. Нет нынче на свете Федосьи Прокопьевны, ушла пораньше государыни, а затворилась в спаленном чулане, вернувшись из Дворца, монашена Феодора, Христова дочь, и тело ее, давно не знавшее бани, уже натуго опеленуто власяницей; чрез такую кольчужицу ни один луканька не прободит крюковатым носом своим прореху, чтобы прокрасться до груди постриженницы и угреться там...

Что ей мир с его утробными прелестями, саламаты белужьи и уха стерляжья, да семужьи кулебяки и лебяжьи окорочка... Когда огурец с грибочком тыпаным, да в самую редкость звено шуки гретой сунет в рот, чтобы совсем не пропасть, – вот и трапеза. А во весь Великий пост за обыденку хлебная корка да квасу монастырского ковш.

И дом просторный от Оки до Волги со множеством чад скинут с плеч под Божий пригляд; Господь пособит, не оставит без подмоги, лишь уповай на Него без сомнения. И вот каждая минута нынче, кою урвала для одиночества, – вся в молитве. А глаза смежишь после ночного куроглашения, то и во сне, как овечье прядево меж перстов, струится сквозь все тело от макушки до пят Исусова молитва, омывая каждую телесную жилку. И долго ли так спишь? – но много всего насмотришься; по небесной тверди и подземным теснинам набродишься, нагостишься в аидовых пещерицах, а после сколько явится полезной пищи уму и сердцу на весь день; всем домовым старицам не разжевать тех черствых пророческих колобов...

Била поклоны боярыня, припадая на узорчатый бархатный подручник, расшитый в долгие дни постов, молила покоенке-царице райского места да на сотом метании, приклонив голову к ворсистой кошме, вдруг и призабылась, будто слоистой хлопковой бумагой обложили всю.

... Откуда-то сестрица Евдокия Урсова взялась, летами моложе нынешней, догоняет Федосью, стуча чеботками. Федосья оглянулась, не удивилась, прихватила княгинюшку за край фусточки, мокрой от слез. А за стеной тук-тук, молотки по крышке гробовой дробят. Подумала еще: чего так рано? еще и не отпевали. Из сеней бы поскорее вон, а в дверях окольный Хитров в нагольном мужичьем тулупце, плешивая голова тыковкой, глаза, будто лампадки голубого стекла, во рту торчит бесым рожком фарфурная трубочка, из нее табачный дым кольцами; на плече сидит черт и ловит тот вонявый дым рогами, нанизывает курильный чад, как баранки. И только успела сказать Федосья Прокопьевна сестре: «Вот сейчас на меня бес прыгнет», – и тот преж слов, по одной вроде бы мысли, сиганул боярыне на загривок. Черт невелик, раза в два будет покрупнее кошки, грязно-каштанового цвета, покрыт редкой шерстью, с рыжими глазами. Вцепился за плечами, как клещ, намертво сел на шею... Ах ты, Господи, прости и помилуй! Взмолилась мысленно, а язык-то и сковало... Рукою бы гнусенка ухватить, но не добыть: ловок и лукав черт. Решилась, ударила спиною о стену. Слышит – затих, ослаб, растекся по плечам, как падаль, и хвост ослиный с кисточкой на конце скатился боярыне на грудь. Хоть и мерзко, и грешно, но только решилась ухватить в пясть, чтобы дернуть с шеи, а черт окаянный снова в силе и так-то больно вкогтился в затылок. И давай Федосья снова долбить беса о стену, тут и себя не прижимая, словно задумала убиться до смерти, пока не затих лукавый. Стянула за шкуру, опачкиваясь в мерзости, протянула Хитрову: «На, возьми

и паси лучше. Это брат тебе». – «Ты что, убила его?» – спросил в ужасе, замирая от страха. – «Твое счастье... Он же бессмертен».

И тут сестра Евдокия, молчавшая досель в оторопи, вдруг протянула Федосье рубль и сказала: де, на тебе в награду. Рубль неровный, обкусанный с краев, будто заеденный мышью, из буро-красной печатной меди, пробитый в середине, и к этой проточине вроде бы из Федосьиной горсти приник змеино-холодный бесовский зрак. Вскрикнула Федосья, стряхивая с ладони проклятую деньгу, а та будто клеем намазана. И возопила боярыня: «Мати Мелания, пособи дочери!..»

И с этим воплем очнулась. Стоит внаклонку головою в кошме, шея отекала, спина ноет, точно снопы на ней молотили. Ой, беззащитен монах пред дерзким врагом в ночи, и сколько бедной одинокой душе приходится страдать, боронясь от бесов. Перекатилась Федосья на рогозницу возле кровати, завешанной цветными воздушками, с трудом растянула замлевшие ноги. Боль телесная потиху отступила, но сердечная гнетя после внезапного наваждения лишь приросла. И подумала Федосья в тоске: и чем же я прогневила Господа, что вражки дети решили меня прикупить рублем иудиным? И неуж Марьюшку, царицу-покоенку, так крепко осадили лукавые, что на всякого, кто пересек порог, сразу накинули обавные сети? Иисусе! Верховный Батюшка, прости и помилуй грешницу, что поступилась Тобою ради мирских заповедей... Но и покоенка была ближе мне сестры-матери; и в том стане неверных я и одним ногтем не прищипнулась за их обманные нитки... Батюшка, употчуй тихомирную государыню своим нектаром; она, сердешная, всяко терпела, но не дала себя опоить сикером ворожейных словес. Крутились дворцовые теткы вокруг царицы, как мухи на патоке, да ни одна не оскоромилась...

Прислушалась Федосья Прокопьевна до звона в ушах; огромная боярская усадьба во всех своих сотах еще почивала по-утреннему безмятежно. Только со двора порою доносился мерзлый бой колотушки о тулумбас: то дозорила ночная бессонная вахта. И вдруг как бы понад ухом очарованно скрипнула потайная дверь из чулана, прошаркали бесплотные, почти бестелесные шаги, обогнули кровать. Боярыня заломила глаза, увидала над собою холстинное личико с кукишек, черный плат шалашиком, повязанный вроспуск, ноги рогатиной из-под пестрядинного монашьяго зипуна.

– Тебя ошавило, Феодора, иль колотун взял? Корчишься, как рыбка, – пропела мать Мелания, сомкнула бесцветные губы в нитку, принагнулась, опахнула постным ладанным духом. – Ты Бога-то, дочи, понапрасну не гневли. Он неистовых не любит.

Старица сбродила к тяблу, сняла с полки кувшинчик со святой водою и просьяной веничек и, будто побывав только что с хозяйкою в одном сне и пережив ее тревожную печаль, неожиданно споро пробежала по всем углам опочивальни, сбрызгивая с веничка, а после и саму Федосью окропила святой влагою.

– Ты, девка, не шали без дела. Покорствуй, поклонись. Иль государь чем обидел?.. Ой, Феодора, как спроваживала во Дворец, наставляла: не ерестись, будь покорной. Не рано ли отец Досифей надел на тебя Христов венец? Пока не прищучили, сердешная, так не кобенясь. И то время грянет, милая, а уж где силы?.. Иль восхотела святее быть самой Матридии и мученицы Феодоры?

– Не ешь ты меня, мати. И без того всю искушали, одно дырье во мне. Осталась я нынче одна, как бывший апостол в пустыни.

– А ты не загрызайся, гордушка. И не убивайся понапрасну. Всею свой срок... Обрядила ли Марьюшку? Да самого-то видела-нет? И много ли верховых прискакали на конех? Дожили... кому и смерть чужая в праздник.

Вздыхнув, страдница придвинула низенькую скамеечку, присела возле и, сняв повойник с боярыни, принялась чесать ей голову гребнем. «Зачем это, зачем не ко времени?» – вяло сопротивлялась Федосья Прокопьевна: ей казалось кощунною в такие часы заниматься собою, но корявые старушья ладони через костяную чесалку словно бы отворяли закрытые в коже

руслица и впускали в замоховевшую голову боярыни чистого живого тепла и раструживали по дальним закрайкам нажитую за день памороку. Федосья поймала руку наставницы, поцеловала веснушчатую постную горбушку и твердые подушечки перстов, а после по-детски прижала ладонь к щеке, насовсем оттаивая. И сон тревожный сразу источился, опал в беспмятство; так лесовой гнус под ветром-сиверком оседает в травяную тенистую прель.

Федосья вдруг вспомнила, как государь голову нагибал, просил нащупать в волосах рожок, и засмеялась прерывисто. Наставница невразумительно смотрела на боярыню, ее лицо скуксилось в тревоге; Мелания порывисто прижала голову Федосьи к тряпошной груди, словно бы обесило боярыню, и хворь икотная тут и полезла наружу.

– Мне царь-от говорит: на, де, щупай рожок. Бедная царица, в каком дурном заводе сполкнула благоверного. Бодает меня и говорит: на, де, щупай...

– Михайлович-то сам весь рожок сатанин, прислужник дьяволей, – рассудила старица, нимало не удивясь Федосьиным словам. – Не бес же он, всамделе, чтоб рожками взяться? Это для прибаски кто ляпнул зряшно, чтоб надсмеяться, чтоб слух пустить. Эх, легковерный!.. – неведомо кого упрекнула старенькая и вздохнула. – У иного черного человека и есть рожки, то изнутри, незримы бысть. Ино и вспухают под волосьем, как желвы, вулканы такие. Дурнина прет, места ищет...

– И что у них за страсть все иначить? Богом клянутся, а у него из-под ступни колодку выбивают. В писании-то говорят святые отцы: этак, де, будет в последние дни. Когда черное пойдет за белое, ложь за правду и честью станут стыдиться. И еще там же: и Сын человеческий пришед, найдет ли веру на земле... Отчего скверные люди в стае, а мы вразброд? И чем я согрешила, что мне ада сулят? – вдруг вспомнила Федосья Прокопьевна минувшую ночь, косое трескучее пламя костра, окаймленное сполохами, и ненавистный голос поздней московки-богомолки. – А может, я, матушка, и всамделе сблудила? поперецница я, сутырщица, с глупого ума забрела в кокорье да чащинник, заплутала там и ну орать благоматом?! И значит, царь за дело обозвал меня так гадко, словно я хуже девки гулящей... Да нет-нет, – тут же и осекла себя боярыня, боязливо окрестившись на образа, на их переменчивые в лампадном свете лики; цветные стеклянные елейницы, как огни божественного ветрограда, изливали на иконы кроткое сияние, и Небесная Матерь с бессмертным Сыном своим, и все святые подвижники, и ученики его, и верные апостолы готовы были, оживев, сойти с резных озлащенных окладов и занять место в ночной раздумчивой беседе. – И учитель Павел также призывал: де, духа не угашайте, не смиряйтесь со злом, всюду переимывая его на рогатину, не потушайте огня сердечного, да пусть выпалит вас до самого доньшка... Я лучше, как птица Феникс, спалюся до зольного пятонышка, но не отступлюсь. Для Бога лишь и живем. Иль не так что при-молвила?

Старица Мелания лишь кивала головою, подперши морщиноватое личико ладонью, премного довольная духовной дочерью. Мучается душою Феодора, и значит, живет, растет для жатвы, как крин лазоревый, ангельский цветик благоуханный; уж поспел почти в райские сады к пятам Спасителя.

«... Я-то пред Феодорою кукушица серя неразумная, – вдруг мысленно низко стоптала себя старица Мелания. – В чужое гнездо подкинули яичко, да и запоматовали. Я пред боярыней, как воробей-мякинник, только бы сглупа чирикать мне... Она книг-то читывала не с мое. Какой правды натолкую разумнице, ежели нутром-то и без меня дозрела, негнучая, как пешня каленая».

И сказала Мелания устало:

– Пока паси сына-то в Боге, не замахивайся на великое. Скрадывают его легковерные, обкладывают сетями. Злые, матушка, они завсегда в кучке, аки червие, одним смрадом дышат, завистью питаются и оттого силу имеют. А добрые – поодинке, они духом святым спасаются.

А коли призовет Господь-то, и скоро сбегутся праведнички под Христово имя, и никоим дьяволей слугам не одолеть их...

Тогда уж ты не промедли, матушка моя...

Часть вторая

Глава первая

Уж с полгода Никон в Ферапонтове за приставом. Загнал Алексеюшко бывшего собинного друга с глаз подальше, как окуня в мережу. Будучи в патриаршестве, вроде бы рвался Никон в пустынное житье, московскими ночами мерещилась ему одинокая келеица в лесном глухом засторонке, оветный крест у мшистой елины, нора песчаная под выворотнем, волчий тоскливый вой у городьбы, прямо на задах изобки, робкий огонек в каменушке и горький дым под потолком и бесконечный комариный гуд и в день, и в ночь, притрушенный чадом Спас на тябле, и бедные милостыньки в сенях от проходящих богомольников. И еще много мнилось всяких житийных мелочей, что вкрапливаются в монашью жизнь, как кольца кольчуги, и по воспоминанию украшают ее особой сладостью.

... Нет, не измыслено это видение, но неиссекновенно живет в голове с той поры, когда страдал в Кожеозерской еловой скрытне.

Хорошо в скиту бороться с бесами наодинку, ежели иной жизни не спознал, не откусил от медовой коврижки. Но, попривыкнув к сдобной перепече, как трудно склониться к житнему каравашку, что ввечеру уже на оселку падет, прилипая глинистым мякишем к нёбу, а поутру и вовсе не отгрызть от него; и невольно тут вспомнишь всевечное присловье: голодный и камень укусит, голодный и от стогодовалой изветренной костомахи соскоблит незримую мясинку на пропитанье.

... Эх, прежняя-то житуха – это тебе не холщовый кабат, не кошуля из парусины, чтобы после дождя скинуть с плеч и забыть накоротке; она, как шуба золотная с боярского плеча: и жарко, и потно, но зато почестно. Минувшая слава неприметно вчинивается в каждую телесную жилку, впитывается в самую кровь, чтобы постоянно беречь сердце. Кабы добровольно, без нужды отряс московский прах со ступней; но ведь отвезли в лесные суземки под стражею, страха ради иудейски, как последнего пропащего елдыгу. И оттого, что не сам сошел с престольной с котомицей на горбе, а отправили под караулом, душу-то и рвала горячая тоска. И запоздалая месть, кою вроде бы позабыл в Чудове при прощании, оказывается, исподовольки ужилась в ребрах, выгрызая углы из его житийной книги: де, тут плохо по государевой вине, а там не сложилось по царевой изгоне; поманил однажды милостивец золотой короною, а вздел на главу венец терновый...

А с отволглой душою, с коей постоянно каплет желчь, разнося по боевым жилам яд и жесточь, разве мирно упрячешься в монашеском затворе? вот и живет бывший патриарх не по Ферапонтовым часам, что бьют на колокольне в ста сажнях, но по московскому времени. С первым зоревым проблеском ударит в Кремле басовитый Борисов колокол, и рокот его, раноставный, стозевный, перевалившись через леса за тыщи поприщ, будто по чудесной воле вливается зовом в поросшее шерстью чернецкое ухо: де, подымайся, милостивец, доколе пролеживать боки? Христос гуляет по земле, стуча в подоконья ключкою, скоро и тебя призовет, а ты, Никон, еще и не обрядившись.

... Не тужи, монасе, это бездельная жизнь, скоро свалившись на тебя, иссушает деятельную душу, но квасит утробу, и вместо елея и нарда истекает из нее възгря и жидь.

* * *

... Ну и тяжел же, однако, дух чернцов, когда всунуты они в одну грудку в общежительную келью. На трех лавках больничной каморы, что уступил по приезду архимандрит Иосиф, опочнули по старцу, да на конике у порога, подоткнув под загривок валяный опорок-басовик, согнулся корчужкою молодой инок Флавиан, что у Никона в служках: ему, бедному, и ног негде растянуть. Да у единственного оконца в половину листа, головою к образам, лежит Никон, подсунув под бок рогозницу.

Флавиан спит вполглаза; ино всхрапнет шумно, с переливом, и тут же, опомнясь, вскиннет лохматую голову, с испугом озирая сумеречную келью: де, не разбудил ли кого?! И всякий раз подымется с коника и, украдчиво ступая к двери вроде бы на одних пальцах, наведет, однако, столько шуму и гяку, что и мертвого подымет: то в ободверину обойдется головою, набьет шишку, то ночную лохань поддаст ногою, то о порог запнется, такой бабьяк. Никону видно из переднего угла, как зачерпывает Флавиан корчиком воду из ушата и пьет, запрокинув голову, гулко, словно стеклянные шары в утробе катает, и вновь крадется назад в житье, подозрительно скосясь на Никона: де, не нарушил ли покой святителя? не встряхнул ли родимого до ненастной грозы? И так в недолгую ночь раз десять запозывает Флавиана к питью, словно соленого абы гораздо переперченного объелся монах, и сейчас заливает нутряной пожар.

Кто-нибудь из старцев не стерпит, взбулгачится, крикнет впотемь: «Уймися же, наконец, пустой человек! Дашь ты людям спать? Что ты бродишь, как жеребец в стойле, леший тебя заberi. Ляг и лежи, пока жив». «Мертвыма належимся», – хочется возразить Флавиану, но он лишь вздыхает виновато, молча укладываясь на рундуке. И Никон чувствует, как невольная улыбка раздрает ему рот. Ах ты, Боже, прости и помилуй! И сам ведь сколько раз порывался поучить Флавиана, отстегать четками середка ночи, но тут же и давал себе укорот: де, смирись, сердешный, то сам Господь насылает тебе видимых страстей. Ежли от одной лишь крохотной человеческой слабости впадаешь в осердку, не можешь перетерпеть, так и ложись заживо в гроб и закрывайся крышицей. Но и духу не хватает сердце точить на инока, как представишь васильковой голубизны глаза, пшеничный непокорный чуб, светлые короткие бровки беличьими кисточками и нос тяпушкою. Своей простодушностью и младенческой доверчивостью вроде бы навсегда застрял Флавиан в юных годах, так и не выпав из детства. Про таких говорят: простодыра, туфак соломенный, святая простота, для всякого доброго слова открыт; а простота да чистота – половина спасенья... Шушера-келейщик эким же был...

В переднем простенке низенькой каморы возле тябла продух, на ночь не заткнут кляпышем, хоть и комарье долит, но вольный воздух будто задернут от кельи железным листовым заслоном. Вот топор, кажись, подкинь к потолку, он там и останется плавать, как пуховинка. Вроде и не ествяный народ подобрался, постный и боголюбивый, да, знать, запрели телеса в тесноте и безделье.

Никон разломался, встал, кряхтя; и чего годить, коли сна ни в одном глазу? Пригибая голову, вышел из келейцы, поманил следом Флавиана.

«Что, сынок, грехи загрызают? Иль мясо бесье снится?» – пробурчал сердито, отыскивая в лице Флавиана, за что бы зацепиться. А были они, как два лаптя с одной ноги, оба сохачиной породы; только один матерый, уже седой шерстью приделся, а другой – в рыжем пуху.

Инок смутился, запунцовел, виновато вздохнул: «Прости, святитель, я вам, как гвоздь в башмаке. Ино и проспять боюсь, все будто кто в бок подтыкивает. Да, не прозевай Господа... Да и время ли боки пролеживать, патриарх? В Воскресенском-то у нас, поди, сена ставят, – протянул мечтательно, – по грибы-ягоды пошли, малиной пахнет... А тут заковали в юзы...»

Монах воровато оглянулся, будто подслушивал кто. Но тихо, сонно было в монастырьке; пахло прелью от крапивы, кутившейся под старинной стеною, набранной в заборник, уже

поистлелой, готовой повалиться; от новых келий, уже срубленных до матичного бревна, точило сладимо и грустно щепую, сосновым запревшим корьем, дерныхами, сложенными в груды для лабазных крыш, березовым драньем. Над поварней уже слоился тонкий сизоватый дымок, около колокольни появились сутулые звонари, принялись сонно разминать ременные шлеи, и петли, и ужища, чтобы вскоре раскатать медное петье... Эх, какое это славное время – летняя меженная пора, когда соловьи уже отгремели, и скворцы призатихли, готовые свалиться в чернолесье густыми стаями, и всякая плодящая живулинка вроде бы потеряла навсегда голос, напослед неустанно пестует чад своих под застрехами и в сенных гнездах, свитых в кострах меж поленьев... Ныне живет и царюет над миром благословенная нетревожная тишина, когда никто не дерзит, не гомозится, не лезет вперед со своим рылом, чтобы в любовном суетливом еретике заглушить стекающие с неба свирельные зовы Христа.

Еще заря не зародилась, но склон приохмуренного летнего неба уже изумрудно, зазывно зазеленел, и по-над лесами натекло брусничной пенки. Ведренный будет день. На покатых Рождественского собора, на кровле монастырской стены, почерневшей от росы, на гребне казенной палаты нахохлились чайки, как беломраморное камень; выжидают, кусошники, утренней милостыньки от добросклонных монахов. «Кыш-кыш, – вдруг вскричал Никон, кинул на скат ближней крыши еловый дрын. – Вот уж не терплю этих тварей. И милостыньчики на вид, но всё во вред. Душою чую, что во вред! – И вдруг перевел разговор на Флавиана. – Сынок, ты сам ко мне вызвался служить? Я ведь тебя не неволил». «Да-да, святитель!» – готовно воскликнул инок и, казалось, весь затрепетал, вытянулся. «Тогда велю тебе спать. А то скоро искрутишься, как берестяной наплавок. А ты нам живой нужен... Иль ты назвался мучителем нам?.. Ладно, милый, поди к приставу и проси чернил да бумаги. Будем с вотчин присылки просить. И мы нын с тобой, как те бакланы. И всяк горазд в нас камнем кинуть».

Пока Флавиан бродил к архимандричьей келье, где стоял постоем полуполковник, Никон прошел к опущенной решетке Святых ворот, вроде бы с умыслом оглядывая все пристенье монастырского двора, густо обметанное лопухом и крапивою, хотя уже изведаль все ходы-выходы и мог бы при случае бежать тайной калиткой за келарской кельей. У проезда торчал заспанный стрелец, только что вставший на часы. Увидя Никона, вытянулся, схватился за древко бердыша, прислоненного к решетке.

«Бог в помощь! – улыбочиво сказал Никон. – Дай, милый, пути рабу грешному». «Ступай прочь... Чего приперся? Не велено на раях спускать», – скупно обронил Евтюха и отвернулся, чтобы не держать разговора. Вдруг грозный пристав невдали, прицепится к служивому, как репей, а то и вкинет в темничку на хлеб-воду.

«Вот так и Христос, когда ли подойдет к тебе и попросит кусочка, а ты погонишь прочь», – кротко укорил Никон, не гневаясь на вахтера: де, чего держать душу на подневольного, и опустил на корточке возле сторожки, откуда выглянул монах...

* * *

Чернец Флавиан тем временем постучал в угловое окно архимандричьей кельи. Распахнулась рама, выглянул пристав, остроносый, плешеватый, похмельный. Зорко оглядел инока, будто и не спал. Спросил недовольно:

– Чего, Флавиан, бродишь под окнами середка ночи, как мыша у крупы? Иль приключилось что?

– Да нет, слава Господи... Вот патриарх послал до тебя. Просил чернил, с десть бумаги. Собрался в Воскресенский монастырь писать да едомых припасов просить...

С лица пристава сразу слетела квелость. Накинул кафтан на исподнюю полотняную рубаху и, не застегивая на гнезда, вышел на крыльцо, поежился:

– Что, с голоду замерли? Хоронить пора? Эх, Флавиан, я к тебе милосерден. Но скончать тебе дни в цепях.

– То патриарх сказал: де, царева подаяния ись не будем. Лучше до времени скончаем дни свои...

– Не приплетай, ворина. Иль уж царя не забоялся?

– А я што? – иннок развел руками, заулыбался. – Я ништо, я червь малый. Но патриарших слов не иначе.

– Сколько велел, недоросль! Не смей называть Никона патриархом, – вскричал пристав, бледнея.

– А как еще звать его, коли он патриарх? Хоть ты и не велишь, но Никон патриарх. – Голубые с искрою глаза наивно распахнулись, но вязаная чернецкая еломка вздернулась на костре волос; ой, не прост чернец. Его и на дыбе не сломать. – Мы, пристав, верно слышали от досужих московских, а они не дадут соврать: де, вселенские патриархи все отставные и нанятые. Они у нашего Никона посулу в оправдание просили три тыщи рублей, а он им не дал. И те проказники, осердясь, отставили святителя от Божьего места. Но сюда-то не заганивали. – Флавиан понизил голос до шепота. – Это государь запер своею волею.

Сказал и смиренно поник головою.

... Босой, простоволосый, заложив руки за спину, полуполковник Наумов скорым шагом пересек монастырский двор; его зоркий взгляд издали поймал Никона у вратарской в соседстве со стрельцом. Хитер вор, и мысли его прельстительны и лживы, как бы не заманил Евтюху в свои зломысленные сети; так и крутит возле, что тебе шука пред ельцом.

Завидев пристава, Никон нехотя поднялся с корточек, смерил служивого презрительным взглядом. Он уже и позабыл, зачем посылал Флавиана. Просто хотелось с утра поране досадить приставу, чтобы он все время оставался в горячке, искипал сердцем до той минуты, пока Бог не заселится в его покорившемся сердце. Пристав и Никон с первых дней как-то сразу незалюбили друг друга и ершились перед всей монашьей братией, выставляли свою ссору на посмех и забаву.

Полуполковник с тоскою взглянул на Никона, и в голове у него нехорошо затуманилось. Сохачиной породы монах, руки, что клещи, кочергу железную узлом завяжут, на горбе можно кувалдою камень дробить в крошево. В простой чернецкой рясе Никон и в неволе оставался патриархом и осанкою своею, и породистым поставом головы, вроде бы подпирающей небеса. И вроде полная власть у пристава, но как бы ее так применить, чтобы снять с монаха эту спесь.

– И что ты высишься, Никон? Живи потиху, – сразу заершился пристав осолоделым голосом: в горле загрязло с ночи, забило слизью. И чтобы придать весу своим словам, полуполковник посунул руки в боки, избоченился. – Что ж ты, как вошь в кафтанье, елозишь и елозишь, спать не даешь? Иль гребня не пробовал?

У полуполковника редкие зубы счерна, борода бритая, на жидком усе под носом застряли крошки табаку; нюхал спьяну ведьмино зелье да и позабыл отряхнуться; так и пал ошалело в постелю. Подняли ни свет ни заря, и как тут залюбишь навадника, что и сам в погибель идет, и других влечет за собою.

Топтун-трава приятно щекотала плюсны, от родимой земли прохладно натекало в худые икры, и лядвии, и под пупок, как бы промывало родниковой водицей, и все внутри ладно так выпрямлялось; но оживая, полуполковник лишь наполнялся решимостью и силой. Он ждал ответа, и Никон, этот вор и прелагатай, скинутый государем наземь, лишь рассматривал купола надвратных церквей Богоявления и Ферापонта, а после, спускаясь взором с неба, нащупал нишу в стене и небольшую дверцу, обтянутую жестью, с накиннутым запором. По времени-то пора бы церковь открывать, служба скоро, но и пристав – не репей, с ворота не стряхнешь.

– Вот... ты и возразить не можешь, потому что кругом я прав. Живи, монах, смиренно, и годы сами собой протекут до смерти. И я не стану тебя крепко прижимать, как того велел государь.

Никон очнулся, смерил взглядом пристава, хмыкнул, остался чем-то доволен; всю ночь не сомкнул глаз, но в короткое утро нынче утишив монах, не хочет вступать в прю, ибо что-то вдруг прояснилось в бессонницу, такое важное спланировалось, что с сегодняшнего дня и украсит заточенье Никона.

– Ты почто меня не чтишь, Степан Григорьевич? Лаешь и лаешь, – ласково обвеличал Никон. – Ведь, милый, я твой патриарх. Протри глаза-ти. Я образ Христов на земле. Иль неведомо тебе? Оскорбляя меня, тем самым убиваешь в себе Спасителя нашего.

– Не патриарх ты... Ты простой монах. Был самоставленник, обманом взлез на стулку, проклятый, и давно низвергнут. Не смей себя так называть! Раскочился, как пузырь на луже. И снова клеплешь: де, худо кормят, да голодом вас на колени поставил. Снова ябеды писать? Грешить на меня? Вон в садках рыбы-то, зачерпни саком да и жри от пузы...

– Рыба та засиделась. Как мох, мясо. Никакого навару и скусу с того окунья. Мы что, собаки тебе? Свиной и тех лучше кормят, – ломался Никон.

– Тебе третьего дня государь прислал подарки. Кроме денег еще пять белуг, десять осетров, две севрюги, коврижек медовых, соболий мех, да именованный пирог, да от царицы двадцать полотен. Ишо мало, дьявол тебя забери?

Полуполковника зло разбирало, чуял он, что монах галится над ним, выставляет перед сторожею на посмеих, чтобы молву ту разнесли по монастырю и далее, но ничем пособить себе не мог: экого варнака разве поставишь на колени? Собор не смог шею пригнуть, а куда ему, малому цареву слуге...

– Я не милостыньщик, чтоб подачки из чужих рук примать, хоть и из государевых. Царевы те коврижки в горле застрянут, – вдруг засуровился Никон. Ненадолго терпения хватило. Куда вся елейность, нарочитая притворность голоса подевалась. – А хочешь поволить патриарху, вели привезть свежей стерляди с Шексны, да чтоб не мене двух аршин длиною.

– Издеваешься? Шутки шуткуешь? Евтюха, заломи вору руки да вкинь в сторожку. Самозванец... Дён с пять посидишь, дак и аржаной сухарь за сдобный крендель покажется.

Комариное облачко, гудя, зависло над приставом; Наумов запоздало стегал себя ладонью по плечи и еще более сердился. На худом нервном лице словно бы проступила молочная сыворотка, в утробе черти натирала кишки дресвою, так горело с похмелья. Квасу бы монастырского из бочки, да опосля щец горячих со свининой. Так елдыга держит на юру...

Никон гордовато вскинул голову, раздул ноздри; легкий ветер-шалоник свалился из-за низкой ограды, распушил бороду монаха, разогнал комарье.

– Но-но, ты не урочи мне, – остерег Наумов. – Своевольник. Ишь ли сыскался. Он мне патриархом назвался. Блудня. Да за одни такие речи язык рвать вместе с головою!

– А ты спробуй, нечестивый. Направь нож поострее и спробуй. И морсу того кровавого испей... Ах ты, грешный, и небось тяжко тебе с ночи? – Никон участливо, уже покорясь, пообъявил тугие плечи под рясою, приклонил голову, взгляделся в страдальческое выморочное лицо полуполковника. – Вон и богатырь Сампсон ратился долгонько с вином, да не одолел. Бедный ты, бедный... Веди, коли не забоишься.

Никон завел руки за спину, хлестнул себя четками. Он почуял, как под кожаными оплечьями вериг подтекло потом, осклизло; трудно, ой трудно смирать душу. И то, что не поддался вражьему наущению, сдержался от рати и смиренно приклонил выю, как-то особенно умаслило сердце. Вот и в келье, в затворе сидит Никон, но всемогущий и всеведущий земной мир тугой попоною с головой окутывает всякого, живущего в нем, и как трудно не прокиснуть в гресех под тем запоном.

Наумов подрастерялся, нерешительно взглянул на стрельца. Но куда деваться? Отступить некуда. Встряхнул головою и с какой-то тоскою в голосе повторил:

– Чего тянешь, садова голова? Веди вора в сторожку, да запри на хлеб-воду. И пусть сквасится там, блин гретый, пока царю повинную голову не снесет.

– Вот ты меня унижить собрался, – рассмеялся вдруг Никон. – Досадитель ты мой, того не поймешь, что солнышко с небес помелом не сгонишь. Простая ты душа, Степан Григорьевич.

Евтюха выпроводил вахтера-чернца из сторожки, завел опального в каменную келеицу, напоследок пихнув в спину ратовищем бердыша, запер за Никоном дверь. Но и до полдневной выти не страдал под замком монах. Поймал пристава архимандрит Иосиф и нашептал с опаскою: «Зря ты струнишь затворника. Слухи идут с Москвы: Никона прочат в папы». – «Вот и стану вдвойне и тройне гнести еретика. Сам сблудил в трех соснах и нас в геенну тянет. Уж и неведомо, какому Богу молиться и сколько тех Богов. Намазали всяк своего. Что ни деревня – то вера, что ни село – согласие. И ты, Иосиф, подпал, гляжу, под смущение, в своем монастыре уже не хозяин. Дай потачки Никону, он и тебя подпятит, будешь за ним ночные горшки охичивать». – «Степан Григорьевич, – взмолился Иосиф, – и что ты на меня взъелся, как борзой кобель? Только шерсть летит клочьями. Видит Бог, ничего я тебе не говаривал. Да и посмотри на меня, гож ли тебе в советчики? Зрение уж потухло, и худо слышу, и едва брожу...»

С тем и раскочились. Вышел пристав из архимандричьей кельи: монастырский двор золотисто желт от яростного солнца, по небу лениво сплывают к окоему кучерявые барашки, стучат плотничьи топоры, ладят новые кельи для братии, чайки орут, с Бородаевского озера щекотной прохладой доносит. Помедлил пристав на крыльце, покачался с пятки на носок, а решившись, отправился к сторожке, открыл дверцу, крикнул пригрубо в глубину темной кельи: «Выходи, блин гретый! Ради погожего дня прощен будеши... Но смотри мне».

Глава вторая

Двадцать стрельцов приставлено за Никоном и братией, прибывшей с ним в ссылку. Царь настроено наказал глядеть за Никоном в оба, каждый шаг зорко блюсти, чернил и бумаги не давать, чтобы не сносився строптивец с миром.

В полдневную жару после трапезы вздремнул монастырь, опочнул на часок перед строгим послушанием; и опальным в больничную келью принес служка из поварни ухи из плотвицы, да каши ячной и квасу тус; старцы похлебали ушного и спать легли. Флавиан полбурака квасу слил в жбан, поставил в скрытню за печку квасить; с неделю побродит питье на хмелю и хлебной гуще, и добрая тогда брага настоится, пробка из лагуна в потолок. Потом взялся крестик липовый резать. Виссарион сел за Псалтырю, чел с расстановкою, на малых голосах, чтобы Никон мысленно успевал повторить следом. Много ли щербы постной хлебнул бывший патриарх, ложки две съел ли? – и сейчас вот с грустью, подперев голову, смотрел на горку костей, на пустую деревянную точеную мису из березового капа, слышал ли он читальщика, кто его знает, но губы его беззвучно шевелились. И вдруг, не в лад тихомирному дневному житию, когда всякая тварь в природе, кроме ноющего гнуса, ложится на полдневный отдых, Никон встрепенулся и сказал: «Сколько я всяких яств испотчевал, сколько всяких заморских вин испил, не чужаю особости их. И вот признаюсь, почтенные... Когда много всего есть возле, того и не хочется. А как прижмет нищета, так бы и кусочка одного сладкого, щепотки из перстов, иль глотка со дна кубка хватило бы, чтобы напомнить чувство и скрасить быванье... Смешно вспомнить, братцы. Прежде от семги-то я бежал, как от соблазна, что враг Божий насылает на монаха под видом пощущения. А нынче бы хоть перышка малосольного пососать, хотя бы от звеньшка малую волоть, истекающую жиром, положить на язык. Вот бабу на сносях так не треплют всякие прихоти на один час, как меня пустая блазнь изводит и молитву прочь гонит... Ой, дети мои, как бездельная жизнь иссушает человека».

Тут Никон решительно встал из-за стола, выглянул в сени, где томился от скуки сторож, подперев плечом ободверину. Попросил монах покорливо, подавляя раздражение:

– Ты бы, Макарушка, спустил меня на волю погулять, да травки пощипать...

– Да-а, спусти тебя в луга, дак и не обратять. А коли смелой такой, то и поди сам. Никто и держит, – ответил стрелец и вроде бы шевельнулся от порога, уступая дорогу Никону, но бердыш, однако, приопустил наискосок двери.

– Убери, баловной, оглоблю-то. Ненароком споткнешься да испроломишь голову, иль того хуже. Бывает не учен, как в тесной изобке ратиться? – посоветовал Никон, ухмыльнувшись. – Хочешь, воин, велю тебе туфак на лавку кинуть, да и поспи, растяни косточки. Никуда не денемся...

– Э-э, – понятно засмеялся Макарка. – Прикурнешь на один глазок, а получишь опосля во все зубы, и каши станет не разжувати. Учены малость, отче, как дворовые медведи...

Никон отступился скоро, ибо такой разговор велся от безделья уже во всю весну, и каждое слово было не по разу промолвлено, как бы по заведенному однажды чину, и уже язык пустомельем насквозь проело.

Велел Флавиану:

– Беги, сынок, к радетелю нашему на счастье и скричи: де, великий, батько помирает. Ежли чего, так и с постели подыми.

Пристав скоро явился с шишковатой палкой-хвостягою, словно бы решил сидельцев учить. Не знал, чего еще удумал московский узник. Над столом в келье мухи вились, старцы спали на лавках, закинув на головы кафтанье. Наумов презрительно оглядел житышко, сморщился, сказал досадливо Никону, лежащему пластом под образами:

– Хватит прихиливаться. Ты, монах, здесь за старшого, вот и держи чин. Как свиньи живете, право. Иль давно батогами не потчевали?

У Никона было изжелта-серое, тяжелое, какое-то глиняное лицо с синими желвами в обочьях, седатые брови козырьками, на груди тяжелое распятие устюжской чеканки. Страдалец скосил глаза ко входу, посетовал потухше, печально:

– Прощаться пришел? Больше некого станет мучить, идолище поганое... Пролей слезу-то, каменный человек! – Никон закатил глаза и словно в последний раз вздохнул, узловатые пальцы заскреблись по древку креста, но из-под выпуклых век сквозь завесь частых ресниц зеницы глядели зорко, угрюмо...

Эх, кабы пристав монаха не знал, то и купился бы за грош.

– Потаковника себе ищешь? Хватит прихиливаться. Велю я тебя, чернец, на чепь посадить. Вот и батожину прихватил для такого случая. Славно попляшет она, поиграется по твоим черным мясам.

Пристав опустил на коник возле двери, пропустил палку-хвостягу меж колен и, подавляя в себе жалость и робость, воззрился на растекшегося под образами монаха... Ишь ли, в смерть играет скоморох, а не ведает того баловной душою, что старуха с косой того лишь и ждет, когда призовешь к себе, будто играючи, да ноги протянешь.

Никон понял, что подобной шуткою сердце пристава не размягчишь, сел на лавке, сложив рядком ноги в коровьих чунях, сметанных из куска кожи через край; к исподу ступней налипли былинки, коровий назем и всякий сор. Эко большой человечике как скоро пал! давно ли ходил в сверкающих ризах, да и не ступал по земле, а плыл в воздушных, подпирая тела архиерейским посохом, и златокованая шапка, вознесясь в небеса, равнялась куполам Успенского собора. И дальше лестницы ход полуполковнику был заказан, и навряд ли когда первый святитель сронил случайный взгляд на царева слугу, выделил его из мирской толпы... И куда ныне все подевалось? лишь одежды стоптал под ноги, уходя со стулки, и сразу стал обличьем, как слепой прошак-милостыньщик.

Свет от оконца упал в лицо Никона, и на пробежистые мрачные глаза легли старческие бельма.

... И неуж этого нищегорода страшился родовитый боярин и старинный князь, с волнением дожидался выхода в сени, как Христа Бога, и ловил минуту, когда мужичий сын бросит в его сторону милостивый взгляд? Да и не сам ли царь-государь целовал коряжистую, уже приодрябшую руку в колечках сивой шерсти? Подивился пристав своим мыслям и как-то горестно вздохнул. Никон принял вздох, как жалость в свою сторону, воспрянул и спросил с желчью:

– И долго еще собрался мучить смиренного патриарха?

– Пока в ум не войдешь...

– Вот я помираю, а у тебя и сердце не дрогнуло. И неуж я тебе столь ненавистен? И врага прости... Сколь ты каменный, Степан Григорьевич. Наживешь ты горбину себе прежде времен от своей жесточи.

– Это я-то каменный, я-а? – изумился полуполковник. – Это ты со мною играешься, как кот с мышью. С первого часа, как уехал Шепелев, ты меня незалюбил. Ты лучше скажи, в чем тебе поволить? И неуж ты думаешь, монах, что Наумов из железа, в нем сердца нет? Я служивый, подневольный человек, и меня палка сторожит во всяк день. Но я не без Бога, нет... Ты скажися, что тебе надобно от меня?

Впервые с весны так взволновался пристав, что-то вдруг вздернуло его сердце, из-за чего Наумов вдруг приоткрылся неожиданной стороною, но тут же, спохватившись, застрожился, решительно встал, чтобы прикончить всполошливый заковыристый разговор... Вот монахи на лавках вроде бы спят, иль придуряются? и среди них тайный наушитель московский сыщется и живо кликнет в стрелецкий приказ слово и дело.

– Лишь хочу по озеру поплавать, окунья подергать на уду...

– Дак кто тебе в этой малости противу стоял, насмешник? – искренне удивился пристав, развел руками. – И не диво ли тебе, Никон, надо мною баловать и посмешки строить? А после говоришь: де, я лютую... Только ты ко мне повернись с душою... Бери Евтюху и плавай, хоть кажинный день.

Пристав повернулся и ушел, почти со слезами на глазах.

Старец Памва, что притворялся спящим, стряхнул с головы зипун и просипел изумленно:

– Ну и ну, патриарх. Сошло Божье слово и на проказника. Еще даве нам, горемычным, и в заход по нужде без караула ни-ни... А нынче, как козуля рождественская. Боже милосердный, что ты творишь с людьми?!

– Пронюхал, мучитель... Не иначе, что-то в Москве приключилось? – задумчиво спросил Никон. – Иль мою весточку получили верные и царь сподобился на милость?

* * *

Евтюхе-стрельцу тому в великую радость рыбалка. Не мешкая, столкнулись с прибегища, где много приткнулось мелкой озерной посуды, и скоро встали на лодке середка воды напротив Ферапонтова, где знакомый глинистый креж с отмелого места круто сваливается в омут; тут много живет полосатого, в чешуйчатой броне темно-зеленого окуня с ярко-красным, почти малиновым перьем; экие оковалки бродят – фунта на три, то и на четыре свесят. И как радостно сердце гудит, когда тянешь его из глубин, полоротого, а он, черт, еще и растопырит крылья, встопорщится весь, словно на конце лесы застряла щука на полпуда.

Сбросили рыбачки становые камни на ужищах с носа и кормы, выставили черемховые гибкие удилица. Хоть и безвременье, самая мерклая сонная жара в природе, но и окунь – рыба непостижная по норову, дерзкая и ненажористая, она часов не блюдет. Иной день в дикий клев за один упряг пестерь полный накидаешь, улов из лодки одному не вынести... И вот перьевые поплавки встали торчком. И самое тут время окститься на купола Рождественского собора и пооглядеться сначала вправо, куда уходит мелкая виска, затянутая кугою и желтыми кубышками, и жирным лопушьем, и видно издалека, как серебрится, играет искрою тонкая стрежь, уже закиданная до полуводы зеленым волосьем; за протокою в ольховнике едва сбрезживает неясным волнистым отражением озеро Паское. Потом и влево от Святых ворот переведи взгляд на пологую травянистую бережину, где табунятся мельницы с недвижимыми ныне махалками; сюда из ближних деревнюшек по осени мужики привезут новины, и от того молоченья достанется, и мучицы на монастырский каравай, и обдирок на пойло скотине, и всяких там круп на кашу братии. Да из дальних мест, с Ярославля и Вологды, притянут возами базарной ржички и пшеницы, и гречи, и толокна, чтобы не перемерли богомольники в сиротские лета.

По домашней стороне по заводям гольем бродят трудники с бреднями для вечерней выти, а на приглубой тоне тащат монахи долгий невод, споро окруживая лещевую яму, чтобы на потный сеностав настряпать работным постных рыбников со свежиною. А здесь, на воде, благодать; и комар не гнусит настырно, и жара не долит, хоть и ярится в небе солнышко; обвеивает лицо пряным тинным духом нагрешейся, забродившей воды; на противной стороне по хвощам и осотам, проваливаясь по лытки в грязь и отгоняя хвостами паутов, лениво бродит монастырское стадо; оттуда доносится глухое бречанье коровьих шаркунцов, запах кострового дыма, всполошенный мык одуревших от оводья коров.

Господи, какая родная взору картина: чем-то вековечным, неумираемым вдруг трогает душу до слезы в очах, и сам ты, уже седатый, как псец, тут становишься на мгновение отроком, еще не отлученным от домашних. Евтюха стащил войлочный колпак, сунул под подушки, волос на голове сваялся в потный ком, лицо круглое, как сковородник, пропеченное жаром, нос сапожком обгорел до лохмотьев, глазки крохотные, с едва уловимой косинкою; воистину раб

Божий, сама простота; ни семьи у него, ни прибытку, и одна доля у Евтюхи – иль под вражьей саблей пасть в бою, иль по старости и увечью закрыться в монастыре и покорно тянуть лямку на скотиньем дворе, полагая и эту жизнь за благодать...

Почасту взглядывая мельком на монаха, стрелец нарушил наконец молчание:

– Владыка... Ваше благополучие. Наше святейшество! Отступился бы ты от хозяина. Склони голову, набери в рот воды. Молчком да тишком и гору своротишь. А ты на медведя с дубьем. Испроломит голову. Належишься на лавке, моля смерти.

– Спаси ты, жалостный, что не потух сердцем... Ты, сынок, не бойся за меня; Господь не выдаст, свинья не съест. От таски да встряски шкура дубеет, ее и пикой не пронзить.

– Да ну?..

– А ты спробуй, – засмеялся Никон. – Хочешь, острогой пробей иль на рогатину.

– Да ну тебя... И без того до слез жалко... Вот и царь отступился от тебя.

– А ты не жалея. Я ведь патриарх. Это от земного царства можно отлучить. А Христов венец лишь могилка сымет. От мучений-то моя коруна лишь пуше сияет. Иль не видишь?

– Одно вижу, что на моих глазах сомлел, стал как дедко старый. Это вижу... Ты смирился, отче. Смиранным Бог дает благодать. Так меня в церкви учили, и тятка с маткой с детства вбивали. Де, смиренной с Царствием Небесным обручен... Другой раз и оторопь возьмет, как пристав тебя треплет. Будто куроптя, только перье летит... А еще толковали: де, Евтюшка, с сильным не борись, а с богатым не судись. С волками жить – по-волчьи выть. Христос на небеси знает, как рассудить. И всякому отпускает по грехам его, – хриплым баском наставлял Евтюха, каждую мысль решительно отрывая с языка, словно бы откусывал их от словесного черствого каравашка.

Двое подневольных, будто перед лицом Господа, поменялись кафедрую. Никон покорливо слушал, встряхивал волосатой головою, принакрытой скуфьею, не сводя взгляда с уды. Поплавки смиренно лежали в белесоватом зеркальце воды меж рыжеватых листьев кубышек, их долгие стоянцы поддерживали на озерной глади широкую кулижку желтых бобошек, зазвисто радостных, как солнечный посев. Меж кувшинцев вдруг чередую, как бусы на невидимой низке, всплывали с бульканьем гроздьа пузырей, словно бы сама девица-русальница, уцепившись за становую веревку, подслушивала странный земной разговор. Сторож и пленник толковали с какой-то скрытой печалью, будто друзьяки, иль сродники, иль арестанты, окованные единой цепью.

... Да и кто вам, беспутные, не дает разбежаться мирно по своим углам? Подите своею дорогою, и сама зыбкая марь, струящаяся над родимой пажитью, укутает в тихие колышущие пелена уже за ближним Цыпиным холмом и укроет навсегда.

И не понять водянице, что хоть вытолкай монаха в шею из монастырских стен, даже сунь в руки котомку с подорожниками и кожаные уледи и укажи прямой путик, но и тогда Никон не побежит из застенки, ибо здесь, в юзах и теснотах, будто и низринутый со стулки, он всё одно патриарх, мученик, Отец отцев; а укрывшись за первым дорожным отвилком, он станет лишь несчастным бегунком и вором, и всяк уже может гнать погонею и вязать его.

– Опарыши у тебя негодяи, толковщик. Худо за делом смотришь, – вдруг пробрюзжал Никон. – Мало скверну квасил иль на припек пустил. Окунье и то нос воротит.

Никону надоело глазеть на застывший поплавок, да и солнце смаривало, и на озерине стало душно монаху, как в сенной копешке. И не успел Евтюшка ответить, как Никон перекинулся на иное, словно бы в голове у монаха шла сбойчатая борьба и он никак не мог остановиться на одной мысли.

– А вот сорвусь сейчас и побегу. Тебя с лодки в озеро, а меня ищи-свищи...

– Да не побежишь ты, – ухмыльнулся Евтюшка и отчаянно зевнул.

– А если вдруг?.. – поддразнивал Никон.

– Расчету нет...

– Ну а если... Ссек бы мне головизну с плеч?

– Кабы да кабы, то выросли бы в роте грибы... А и ссек бы! И што? – Евтюшка наклонился, опустил ладонь в парную воду, глядя задумчиво, как снуют меж пальцев серебристые бесстрашные мальки. – Только не побежишь ведь.

Евтюшке страшно было своего пригубого тона, но заносчивостью голоса подавлялся почтительный страх и так думалось, что в лодке пред тобою сидит ровня.

– И верно... Не попробуешь, не поймешь... Вот так век свой прокукуешь, и невдомек, зачем жил? Вот ты, Евтюшка, скажи, зачем живешь?

– Не моего ума дело. Господу Богу виднее, раз попустил, – буркнул стрелец, не отымая взгляда с воды. – Зачем мне голову ломать? Все живет; закоим-то и мне, дураку, жить...

Никон вдруг оборвал разговор, деловито смотал лесу, вытянул в лодку якорный камень, уже обвитый шелковистой донной тиной. И Евтюха поднял из глубины кормовой груз, думая, что узник намерился плыть назад, в монастырь. Но Никон стал пробовать озеро черемховым удилищем, чтобы изведать дно. Гундел себе под нос, не объясняя стрелцу задуманное: «Эх, Евтюшка, бобыля твоя голова... Человек на земле живет для племени, а грешный монах для Господа. Вот вбили меня в суземок, думают власти: де, потеряюсь тут навсегда, испротухну и позабудут все. Де, как и не было. Де, исшаает древняя головушка, порастет быльем, и тогда антихристовы затейки станут для них Божьим промыслом... А тут я из могилки и выкурну: ах вы, курошупы, кыш от матери церкви! Или зря страдал?... Разоставлю всюду памятки по себе, понасажаю на всякой горке, на каждой кочке оветные кресты, чтобы не сблудил мир. – Никон ухмыльнулся, рассветился лицом и показался Евтюхе доброрадным состоятельным мужиком, у кого дом – полная чаша и дитешонок сам-десять по лавкам. Дуб мореный, заморелый, такого и палицей не сокрушить. Правда, лицом вот батька сбела, будто капустный лист, мало вольного воздуху достает.

И вдруг Евтюшка завлажнел глазами и понял, что любит святителя неискоренимой любовью. – Раб искренний... Нагрузи на себя жернов послушания, и тогда душа станет мягше воска, и евангельские заповеди высекутся в ней неистребимо, как скрижали на архиерейской мантии... Смотри же, сынок. Озеро без острова, будто лужа, как глаз с бельмом, что плоть без души. Пото и роюсь в воде палкою, что задумал остров ставить». – «Да ну?... Осатанел ты, батько, от безделья, вот и примстилось». – «Вот те и ну... Однажды в море студеное на камени диком, зовомом Кий-остров, спасся я, грешный, Божьим изволом, и там крест оветный поставил, а после и монастырь... Спросил я тебя, воин, для чего живешь на свете? Отвечу: для родни и Родины живешь... А иначе закоим и родиться?..»

Когда выволакивали лодку в берег, взявшись за уключины, Никон вроде бы случайно приклонил лицо к Евтюшке и спросил полупшепотом: «Коли нужда прижмет, поможешь ли своему владыке?»

Евтюшка придирчиво посмотрел на монаха, с усилием напрягши косенькие глазки, чтобы собрать их в прямой взгляд; темные зеницы стали, как порошины.

И смолчал.

* * *

На удивление не перечил пристав Никоновой задумке. Без спору уступил настырному монаху.

... Ему бы, лешаку, в келье покаянные поклоны бить, просить у Всевышнего прощения за гордыню, и памятки слезные слать: де, смилуйся, царь-государь, смени гнев на милость, а он вот, черноризец, позабывши отеческое правило, лается ежедень, как пьяный бурлак, и заводит свары, отчего монастырь стонет, утратив прежний покой.

И это святитель, коего мы за Христа чтим? Никчемный, никошной человечешко, дьявольскими затейками всползший на Отеческий стул, да скоро и грянувший наземь, как языческий болван.

... Но странные всполошливые вести идут из Москвы: де, вселенские патриархи, опомнясь, бьют челом русскому царю и просят Никона к себе в папы, чтобы тот над всем православным миром стал головой. А тогда, ведая гневную, скорую на расправу руку Никона, жди такой немилости!.. Ой-ой, страшно представить.

И решил полуполковник: пусть заточник рвет жилы в пустом деле, мотает сопли на рукав, затейник, коли сам себе ярмо без нужды сыскал да на шею и вздел. Но приставил к Никону сторожу из двух стрельцов: одного у польца, где камень ломали, а другого, чтоб неотступно заирал.

И стал Никон с братией своей добровольной, что в ссылку за ним сошли – Памвой и Варлаамом, Маркеллом и Мардарием, Виссарионом и Флавианом, – камни в крошнях таскать. А камня того самородного возле Ферапонтова россыпи; его не сеют и не пашут, сам растет. У каждого крохотного польца, чищенки иль лесовой кулижки, выпестованной с ногтей, навалены гряды кругляка, и розового банного, зовомого дресвою, и синего угарного, и серого полевого с цветными жилами; да вдоль-то озера по берегу покоятся от веку лещадные плиты, вросшие в землю, уже замоховевшие: дробь их зубилом и кувалдою, и много наберется каменного крошева. И в мочажине под ногою вдруг блеснет крохотный сиреневый потный бочок валуна, и, вызволяя его из грязи, вдруг выползет на белый свет такой одинец, будто бычья туша, словно с неба упал однажды и огруз по маковицу. Вот и в бору мха-ягеля отковырни с пясть, да и там объявится сизая, как бы отлитая из чугуна, подкладка, точно вся северная сторона диким камнем вымощена до самого нутряного пылающего сердца, где и вывариваются они... Знать, Господь наслал на поморцев такого дива, чтобы они, убиваясь над трудной землею, так умиряли своенравную плоть свою, так пригнетали ее, чтобы однажды душа засияла, как жемчужный окатыш в прохладной перламутровой постели. Не отсюда ли по Руси и присловье: де, трудись, милый, не покладая рук, и жизнь твоя незаметно пролетит.

Камень в крошнях таскали к берегу, грузили в шитик, а после плыли в облюбованное Никоном место и сыпали в озеро напротив монастыря. И Евтюшка, стрелец, рад был услужить хоть тем, что пригребает кормовым веслом: пусть и невеликое, но подспорье, не нахлебник монахам.

Глава третья

У всякого слуха своя правда и свои ноги. Давно ли к приставу Наумову ближние притянули тайную весть: де, царь опальному мирволит. А на Петров пост и гости из престольной...

Монахи свое трудное послушание вели, маялись под полдненным солнышком, аки мураши, волочили камень в шитик, и уже до трапезы оставалось с полчаса, когда в облаке дорожной пыли вымчала к бревенчатому мостку через ручей ямская государева служба, окруженная верховыми стрельцами. Избушка, запряженная в тройку, наглухо запечатанная кожаным фартуком, была желтой от песчаного праха, словно зашпаклевана густо яичным желтком, и в слюдяное оконце едва ли что пробивалось снаружи. Бедные путешествующие, какого страху наберутся? Простоволосый извозчик, рубаха врасхрист, крутил над головою плетью, едва ли слыша мольбы седоков, скалил зубы и что-то выкрикивал несуразное, радый близкому постую и сытной естве. Да и сама-то езда его хмельно веселила, и варнак, увлекшись, мог бы и стоптать всякого, кто подвернется под слепой случай... Эко диво, не лезь под копыта, простодыра, жмись к обочине... Есть же на миру такие заядлые лошадики, кому в пыли гона чужая жизнь – копейка. Про таких еще говорят: дураком рожен, дураком и в гроб положен.

На этот случай Никон и тащился с кладью камня-дикаря, когда телега перебрала колесами бревна мостка и круто вильнула за угол монастыря, проскочила сушило и осадилась у Святых ворот. С этакой неподъемной торбою пудов в шесть на горбине монах едва вывернулся из-под лошажьей груди, сбросил с плеч вичяные крошни. Тройка сбилась с намета, запаленно дыша, тут сгрудились и верховые; обгорелое лицо ездока жарко лоснилось, густо залепленное пылью; он, пожалуй, и не приметил дурной оказии. Не смял под телегу, не стер колесами, – и слава Богу, можно забыть. Споро добыл баклагу из-под ног, запрокинул, жадно ловя губами теплую струю; вздрагивали острый кадык и широкие лопатки под потной рубахой. На грязном лице промылись светленькие, срыжа усишки, подбородок с ложбинкой.

Никон опомнился и, не дав расчухаться ездовому, стащил того за шиворот с облучка, хорошенько встряхнул, кинул в натоптанную круговину возле Святых ворот. Вскричал, вспыхнул: «Ах ты, бесов сын! Глаза варом залепило? не видишь, куда летишь? Ведь к погибели своей скачешь, дурная башка. – Никон приподнял и еще встряхнул спесивца так, что посыпались путвицы с рубахи, и сама котыга расползлась, обнажилось жиловатое мокрое молодое тело. – Так и царя стопчешь, варнак! Я палача звать не стану, сам казню».

При этих словах парень вскочил гибко, по-кошачьи, готовый дать обороны, но увидел перед собою монаха в сажень ростом, с угрюмым прожигающим взглядом. Тут с оханьем, держась за грудь, вышел из кибитки стряпчий Иван Образцов и, еще не разглядев Никона, запричитывал жалобно: «Таскай его пуше, отец святой... волочи за кудри. Мало его тятка учил, прохвоста. Замучил он нас, право слово, решил, знать, со свету сжить. Ухаб ли, кочка ли, ему все одно...» «Недоросль, не научила мамка, дак научит каторжная лямка», – пригрозил Никон, остывая.

«Ну, ты прости его, отче...»

Стряпчий пригляделся к монаху и вдруг в закорелом старце с длинным кожаным фартуком поверх рясы и с дерюжною накидкою на плечах узнал опального. «Святитель, наше Благоденствие, – подскочил стряпчий с испугом и восторгом. – Все ли ладно, не зашиб ли ворина? Обошлось, и ладно. Мы его сами поучим, будет зубы на полке искать... Благослови, владыка, скудоумного раба твоего», – вдруг понизил себя государев посол.

«Целуй, коли признал, да не гребуешь», – процедил Никон, протянул лапищу, похожую на совок, каким соль в рогозницы сыплот, пригляделся к стряпчему. У Ивана Образцова льняные тонкие волосы невесомым облачком, как пух гагий, да и лицо пухлое же с чистыми карими глазами навывкате; был стряпчий видом, как младенец.

Тут как-то скоро братия сбилась у ворот, и послушники, да крестьяне монастырские, что оброчили с топорами на дворе. Ватажка стрельцов окружила скопку, вроде бы склонную к бунташеству. Полуполковник видел, как почтил царский посол опального монаха, и у него язык отнялся. Плетуха с камнем так и лежала у ног Никона, вот с нею-то и надо было приканчивать дело. В монастыре ударило било, сзывали к трапезе. Несчастный возчик, куда-то порастеряв петушиный гонор свой, склонил повинную кудрявую голову, забитую дорожной пылью; словно посыпал теменцо прахом и раскаялся в содеянном. Никон насмешливо осмотрел проказника, велел грозно:

«Вот тебе послушание, прохвост... Таскай в шитик камни на горбине, да не ленись... Евтюшка, а ты присмотри за шалуном, чтобы не исхитрялся, да отмечай ходки... Штоб тридцать кладей... А станет волынить, ино плетью потчуй жеребца, иль сам на плечи вызнись, штоб потяже».

Никон уже и потерял интерес к бедолаге, но что-то еще мучило его, и, уже собираясь уходить, добавил: «А ты, непуть, кончишь послушание, приходи, просвирку дам, да полотна на рубаху. Прости, что погорячился. Ступай, ступай... Да не позабывай, атаман, Иисусову молитву честь. Помни: капля камень долбит, нужда – сердце, а молитва – душу...»

* * *

У всех как-то сразу отлегло от сердца. Гости посыпались в озеро, сверкая молочной белизны телами; только бурели шеи да лица, как корье, и кисти рук были темны, будто надеты кожаные рукавицы-верхонки.

И стряпчий, стыдливо спрятав мошну в пригоршню, блестя бабьим задом, всполошливо причитывая и по-детски ойкая, вкрадчиво вступил в парную июльскую воду, охнул, присел и восторженно возопил на все Бородаевское озеро: «Ах ты, растуды твою кочерыжку мать...»

Стрельцы заржали, кидаясь по воде, как белухи. Никон, опершись на ключку, просто-душно, отмякше смотрел от Святых ворот на забаву, вдруг представил себя юным. Он поймал со спины чужой взгляд, обернулся: сухорылый полуполковник угрюмо, ненавистно доглядывал за ним из сумрачного проема ворот; за один лишь час совсем сдал бедолага.

«Вот уж отолюются коту мышкины слезы», – мысленно пообещал Никон и сразу забыл пристава. Еще подумалось смутно: «Москва слезы не любит. Знать, и до царева уха дошли мои стенанья, скоро отозвались приветом: и неуж образумел государь и велит нынче же обратно ехать?»

Но Никон не впустил в себя раннюю радость, чтобы после горько не восплакать.

Смыв дорожную усталость, Иван Образцов вышел из воды; боярский сын поднес ему облачение из дорожной укладки: свежее полотняное белье и тонкую батистовую сорочку с кружевным воротом да зипун червчатый и башмаки с пряжками польского дела. Помог одеться. Никон терпеливо ждал на берегу, не торопил событий, обласкивал гостя теплым взглядом.

И только тут к монастырю подъехали три подводы с подорожной кладью и московскими гостинцами, сразу же втянулись в монастырь. Образцов не томил, не мешкая поднес Никону государевы посулы. Царь послал от себя сто рублей денег, да от царицы мех соболей, мех беличий хребтовый, десять полотен, да от царевича Алексея пять белуг, десять осетров, десять лососей, по пуду икры зернистой и паюсной, и разных сластей, яблок в патоке, винограда, арбузов, пастил. Подачу отнесли на ледник. Никону бы ради гостя заварить ушного, ведь путешественнику можно и послабки дать, и нарядить стол, а он же, лукавец, осторожно пригласил к себе в келью, где прежде коротали больные древние монахи, а нынче оприютились убогим житышком сосланные. Едва протиснулись за стол. А что объяснять цареву послу? умному взгляду и с первой примерки все видать, а жестоковыйного и бурные слезы не умилоостивят. Келейник притащил бадейку кислых штей, да котел просяной каши, да братину квасу. Старцы

наломались с камнем, исполняя урок Никона, и им эта выть – за праздник. Московский же гость отведал ложку постного, скуксился, спросил угрюмо, обведя взглядом келью, тесно уставленную лавками, с бахромою сажии на потолке, с кривым тутовым битой из глины печи и крохотным слюдяным оконцем, почти наглухо заросшим иван-чаем: «Вот так и томят тебя, владыко?» – «И Господь терпел... По грехам нашим, родимый». – «Бога забыл, проказник», – вспыхнул стряпчий, забуrowел пухлыми щечками, замгился взглядом. А Никон ответил глубокомысленно: «Дурак в воду камень закинет, десятеро умных не вытащат».

Кого он имел в виду? царя ли, пристава ли? разладицу ли на Руси?

Стряпчий вышел на крыльцо, послал боярского сына за полуполковником, велел вкинуть проказника в сторожку под замок. Скоро в продухе каменной кельи при Святых воротах показались умоляющие глаза пристава. Посол не заметил знаков Наумова, ушел к архимандриту, там отобедал осетринкой и с дороги повалился опочнуть. Никон же своим старцам и часу сна не дал, погнал на послушание. Думал: это дневной разбойник нас мучил ежедень, а сия работа за веселье чернецкой душе. Когда проходил мимо сторожки, окстил ее, как врага своего, и сплюнул.

Шитик уже был полон груза, бедный крестьянский сын, истомленный послушанием, лежал на берегу, опустив сбитые в кровь ноги в тину, и о чем-то живо толковал с Евтюшкой. Завидев Никона, Евтюшка вскочил в лодку, стал лихо грести, плутовато поблескивал крохотными глазенками; спина и грудь его были в земляном соре и мучнистой дресвяной пыли. Никон понял, в чем дело, но не осердился: ведь мужик мужику всегда брат и в радости, и в кручине, и в самом раздоре. И на кулачках побьются вроде бы смертным боем, и юшку пустят, а после и обоймутся, побредут в ближайший кабаk, словно кровники.

Съехали в озеро, приторочились к вешке; Никон выталкивал валуны за борт и повторял, пережидая плеск воды: «Мы умолчим, так камения возопиют». Сквозь пленку зеленоватой сонной воды уже прояснивалась подводная корга, остров вырастал из глубин прямо на глазах, как рукотворное чудо, своей главизной упорно пробивая стынью и хмарь придонных недвижных пластов, куда не проникало полуденное солнце.

И Евтюшка работал, не разгибаясь, скидывал груз через другой борт, и каждое прикосновение к патриарху, нечаянный тычок отзывались в его сердце радостью; словно бы его, крохотного человечка, греховную тварь, вдруг посвятили в скрытую от прочих тайну, отчего-то именно его выделив из людского муравлища.

Они закончили дело. Бородаевское озеро утихло от всплесков, и над всем миром установилась благословенная тишина; старцы дожидались на берегу, скинув с плеч вичяные крошни, не торопили Никона. Их послушание началось в отроческие лета и кончалось с последним вздохом. Монахи верно знали: чем меньше поспешаешь, тем больше успеешь.

Никон вытер пот с лица, сказал насмешливо, вприщур глядя на Евтюшку, как тот умащивается на корме, берет за лопату: «Монастырские-то нас за дурней держат. А мы, Евтюшка, и есть те петухи, что в полночь орут: все спят, а они, блажные, орут... Я безумец, а ты, коли пособляешь мне, – и вдвойне дурной, с ума сшедший, ибо без всякого принуждения тянешься за мною. Я ли тебя просил в помощь? Не-е... Да ты не кручинься, молодец, – успокоил Никон, увидев, как мрачная тень наплыла на прожаренное лицо стрельца. – Живи в мире с врагами, но со своими врагами, а не с врагами Божиими. Так завещал Спаситель. И ты возлюбил врага. Еще вчера хотел голову ему снести, а нынче в слугах у него». «Ты, владыка, не враг мне. Ты мне ближе отца родимого», – неожиданно признался Евтюшка и с надсадой, подымая россыпи брызг и нагоняя волну, потянул лодку к монастырю. «Ты прежде боялся Господа, а теперь полюбил. Через меня, грешника, полюбил... Ты в ветхом человеке разглядел самого Христа. Вот я всем ино примольвлю: де, я воплощенный образ Христов на земле; де, вам не за стыд покоряться мне, и нет в том презорства. Так меня на посмех подымают: де, я злодей и само-

хвал... А нынче же и придут, и поклонятся неверные, а верные примут святых словесных хлебцев и растопятся сердцем, как восковые пасхальные свечи...»

Никон долго бы мог говорить, умилившись душою. Но тут шитик толкнулся носом в бережину. Монах разволновался, никак не мог успокоиться. Уже колокола били к вечернице, с ближних деревень брели богомольники, вспурхивали облачки пыли; в заводях Бородаевского озера ложились нетревожные черные тени; в светлых пролысинах плавилась, ходила кругами рыба; шуки гоняли мелочь, и малявки, вскидываясь под западающее солнце, серебрились над водою, как бабьи охорошки. Какая-то непрошенная слеза навернулась тут, и, глядя на построжевший к вечеру монастырь, Никон понял, что никакой спутней дороги не сулит ему приезд посла, и по всем рогаткам по его душу разоставлены заставы и рогатки. Монах утерся грязной рукою; вид у него стал диковатый. Никон нашел глазами молодого возницу, поманил пальцем и, ничего не говоря келейщикам, потащился к Святым воротам, чуя, как с каждым шагом наливаются свинцом плечи и шея, и ноги, а в поясицу вроде бы вставили шкворень.

... Эх, батько-батько, укатали сивку крутые горки; в молодых-то летах, бывало, с шестипудовиком взбегал на сходни волжской барки и рогозницы с солью кидал в дощаники, как свежие караваи. А нынче и лядвии-то в рассохах искривились дугою, словно с лошади трое ден не слезал, и язык-то горькой пеной обложило.

В сенях келеицы дожидались таз-оловяник и низкая скамеечка. Никон плеснул воды и только тогда, умывая вехотьком ноги озорю, спросил, как зовут возницу. «Никитка», – едва слышно прошелестел парень, глядя на склоненную голову патриарха.

«Ишь вот... Никита Минич умывает ступни прокащику Никитке, что едва патриарха не стоптал. Да не ежься ты, будто на борону усадили».

И чего не случалось прежде, Никон вытер молодцу ноги сухой онучею, и сам штанины раскатал, и подсунул басовики валеные. Никитка чуть не заплакал от обхождения.

«Простили бы вы меня на этот час, – взмолился. – Спустите, прошу... Что же вы меня неволите-то?»

«Никто тебя не неволит...»

«Отец родимый, владыко. Ты меня полонил, я с этого дня весь твой! Скажи во огонь иль на нож пойти...»

«Не мой, а Божий...»

«Я ради вас на прядево раскатаюсь».

Никон улыскнулся в усы, ничего не ответил; обиходил себя, бороду перед крохотным зеркальцем расчесал на два рога, скинул кафтан, надел белый подрясник; на голову вздел байбарековую еломку. Ему захотелось вдруг понравиться гостю, словно бы он заманивал молодца в свои нети, чтобы зачислить в дружину... А, казалось бы, чего расстилаться пред наезжим, коли он с утра, поди, уже и к дому повернет, и останется ли что в шальной его голове от этой неожиданной встречи? Эх, о чем жалеть-то? не с небеси ангелы сходят, но на земле созидаются ласкою и таскою.

Поди, в дороге снова взбулгачится удалец, забывши наставления, взорет благим матом, когда ярая кровь ударит в голову, и кинет лошадей в галоп, словно за телегою на пятах злая погоня; да в такой-то горячке нечем отчего вдруг прояснится лик патриарха, что сидит в заточниках в Ферапонтове, и устыдится лихой, и сам себя приструнит за дерзость, непочтение и безрассудство.

... Господь любит не блаженных, но простодушных.

Вы спросите, чего казнить малого за горячку: де, велик ли тот проступок? Да и самый-то малый грех сокрушает, изъедает в душе Христа.

Никитка достал из дорожного сундучка свои хлебы; наверное, матушка провожала: кулебяки с лещом, да колобки воложные, да яйца и сало в тряпице. Пост на дворе, а у него все

скоромное; вот как грешный человек истиха поваживает свои прихоти и тешит утробу. Никон поймал смущение парня, успокоил: «Ешь, не ломайся, дорожный человек, а я замолю...»

И тут не ко времени вошел в келеицу пристав и, чего не бывало с ним от веку, наискал глазами образа на тябле, отбил земной поклон и, не стережась чужого человека, сказал повинно: «Господи, помилуй мя, грешного, непотребного. И ты, старец, прости меня. Не ведал, чего творил. Я человек невольный, как приказано было, так и делал».

Никон и Никитку забыл, выскочил в двери, как ошпаренный, и полуполковника за собою увлек. Бедный, бедный человек: давно ли, кажется, учил стрельца Евтюшку: де, надо с врагами в мире жить, а тут мигом ум потерял, лицо покрылось творожными пятнами. Зашипел Наумову:

«Степан Григорьевич, как ты очутился на воле? Ты меня мучил тридцать недель, а сам и трех часов не просидел взаперти. Когда исправиться ты успел, старый притворщик? Бродобритенник, дневной разбойник, прихильник окаянный! Опять табаку курил?...»

Пристав молчал, поникнув головою, и лишь изредка бормотал:

«Прости, владыка, прости, патриарх. Помрачение нашло».

И тут дошло до Никона, что пристав его патриархом величает. И сразу простил все козни. И лишь для прилики строжил Наумова, чтобы не выглядеть простодырою:

«Тебя бы в цепи, да в гноище, чтобы не величался. Чтобы вши да блохи изъели до кости; чтобы крысы ежедень точили твои черные мяса... Поди с глаз моих прочь!..»

* * *

Громовый голос у Никона, с раскатами. Да он, по обыкновению, и не таил своего гнева, чтобы не только келейные старцы, но и вся монастырская братия знала патриаршью натуру.

Стряпчий Образцов шатался по двору и всю жизнь обители, ее устрой как бы записывал в голове, чтобы после доложиться в Новгородской чети; каждую мелочь укладывал в памяти, как на бумажном столбце. И ненароком подслушал разговор, резкий, на тонах; затаился за новой брусняной кельей, чтобы не лезть на глаза. И когда полуполковник в горячке проходил мимо, то и вышел навстречу, будто случайно, с мелкой улыбкой и скучающим взором, взял под локоть пристава; велел прибрать две свежих изобки для Никона с братией и снять караулы.

«В папы прочат его?» – спросил пристав, искренне веря слухам, зажимая в груди глухую злобу. «В тети», – засмеялся Образцов. «Лается уж он порато, – пожаловался Наумов. – И как вселенские власти его терпят? Бранчлив, ругачкий больно, всяко искастил меня». – «А ты терпи, царев слуга. Твое дело терпеть. Но дозирай помягше. Не нами говорено: сегодня во пиру, а завтра во гробех. И всяк, кто нынче в рубище, завтра с золотым венцом на челе». – «Слуга я, царев слуга. Я подличать не люблю».

Другим днем проводили государева посла; никакой особой милости, кроме подач, не привез с собою стряпчий. Садился в кибитку Образцов с непонятной спесью, не подойдя к руке, лишь поклонился Никону уже с тряской телеги, когда застегивал дорожный фартук на избушке. Зато Никитка пал в дорожную пыль и поцеловал полу рабочего кафтана, заскорбевшего от работной грязи, и Никон, шутейно, иль взаболь, присыпал его кучерявое темя горсткой дорожного праха. Де, блудил сынок, крепко поскитался по палестинам и вот, слава Богу, возвратился под отцово благословение. После легко приподнял парня, как гусиное перо, и поцеловал потечески в лоб да отпустил прочь. А сам закинул торбу с камнем на горбину и, будто бурлак, потащился к лодке. И тут многие из братии устыдились нечем чего, а после, чтобы крепко прижать неожиданный разор в душе, мысленно пожурили Никона за его причуды. Ишь ли, самому государю не дает прощения, какие бы посылки ни слал он, а простого смертного, что в застенку давно готов по своей дури и лихости, с легкостью жалует по-отечески, не залучая в казни. Блазнь ли то? иль игра чувства? иль затей кощунного ума? Порою сто раз на дню сам

себя роняет Никон и вдруг за ничтожные попреки упадает в горячую тоску и долгую обиду. Эх, крепки коренья у гордыни! Иль вовсе порастерялся человек в несчастьи и никак не может собрать себя в грудку?

Никон и поезда посольского не проводил, а, побряхтывая, глубоко печатая следки в хвощах и осотах, побрел к шитику, и все заворуженно смотрели вослед, как Евтюшка отпехивается шестом с отмели, а после они дружно гребут к сосновой вешке середь озера, приторочиваются к ней и с гулким плеском сбрасывают камень в никуда. Так варнаков иной раз пригнетают в застенках к пустому делу, чтобы выгорел у них нор и тяга к воле. А тут-то закоим ломает себя старец? Мало ли доброго дела в монастыре? И навряд ли кто заметил, как тронулся поезд из трех телег и полудюжины конных стрельцов. Гладь озерная у всех на глазах поуспокоилась, и тут проклюнулся неровный черный горбышек, как бы великанья рыба спину показала да и омелилась. Монах вышел из лодки на камежник, собою заслонив крохотную отмель, и так показалось всем, что сейчас Никон, будто Спаситель, пойдет к Ферапонтову по водам, аки по суху...

Никон же опустился на колени и, помоляся на восток, после зачем-то погрозил пальцем монастырю: видно, хотел поразить за непокорство. И старцы, слабые глазами и черствые древним умом, боясь патриаршего гнева, пали на травяную бережину, упрятали в осоты головы, как кулики, и так долго лежали на земле-матери, пока-то не подошел, осердясь, архимандрит Иосиф и не стал раздаривать батогами по хребтинкам добрых гостинцев.

* * *

... На берег Никон вышел из лодки уже великим старцем; у Святых ворот встретил игумен монастырский Афанасий и назвал патриархом; архимандрит Иосиф, что по воле государя дозировал за опальным, прилюдно подошел целовать руку. На вечернице в Преображенском храме уже поминали Никона на ектении как первосвятителя.

После службы одарил великий старец Иосифа шубою, а пристава сукнами, простив им прежние погрешения.

Через седмицу, прослышав о милости государя, что Никон прощен, потащились в обитель всяких чинов люди да из ближних городов посадские; с Белоозера из земской избы староста и кружечного двора голова; воскресенский черный поп Палладий и монахи разных скитов; из девичья Воскресенского монастыря игуменья Марфа и каргопольские священцы; все гости подходили под благословение, целовали руку, величали патриархом и сидели в келье у Никона с утра до вечера. И вдруг из опального в короткий срок Никон превратился в волостеля, хозяина Ферапонтова и монастырских вотчин. И вот уже из села Короткова и Богословского приехали крестьяне с челобитьем и привезли едомый запас и деньги. С Нового Иерусалима пришла весть: де, и они занаряжают патриарху обоз с запасами.

Никон повсюду рассылал письма и приветы, гнал с нарочными челобитья и посылки, его служба Яковлев отирался в престолярной и по ближним городам с пригородками. И вот уже слух потек: де, Никон строит войско и собирается идти к Москве, чтобы вернуть власть.

Наумов запрещал Никону писать наветы, не давал писчего снаряда. Монах дразнил пристава, смеялся: «Ты от меня запираешь бумагу, а я с Москвы привез с собою четыре чернильницы и бумаги восемь дестей» и показывал целую стопу нарезанных листов, и клей для подклейки, и оловянную песочницу, что сохранил в скрыне, несмотря на строгие досмотры. Пристав ужасался, казнил себя в душе за слабость и робость, но и помнил приговоры Образцова; потому не рычал на великого старца, но подхватывал под локоток, как ближний келейный служба, угодливо заглядывал в лицо и умаливал послать государю благословение; тем самым и себя выгораживал пристав от грядущей казни за самовольство... Слабый человек, лишь на блажные слухи ты поддался, и сразу же позабыл царское грозное слово.

«Не дам я царю прощения, пока в темничке держит меня, а ты, холоп, надо мною волость». – «Чем же я так провинился пред тобою, патриарх, что нет мне прощения? Псом цепным скалишься и всяко клеплешь всем: де, я вор и разбойник». – «Да как не разбойник-то, милый... И вправду разбойник лихой. Ты с каждой крестьянской подводы емлешь мзды, ты с каждого монаха, лишь бы за что придраться, последнюю полушку выщелкиваешь к себе в мошну. Ты и в свои имянины грешник, только для того и пригласил гостей, чтобы тебе посулы в бумажке принесли от полтины и больше того. Ты послушай, Степан Григорьевич, что в народе про тебя говорят, ино волос последний устыдится и покинет твою разнесчастную головушку», – мягко учил Никон пристава, когда гуляли они по берегу Бородаевского озера после дневной выти.

«Нет... Ты меня за что-то не залюбил, патриарх. Душой чую. И для распоследнего мужика ты находишь доброго слова, а для нас, царевых слуг, только брань». – «Мужиков-то я люблю, а вас – терплю кое-как. В поте лица добывают они хлеб насущный и не только себя кормят, мешая зерно с травкою, но и нас ублажают из последнего. А ты, крохобор, теребишь несчастных, кто обороны дать не может». – «А что, Никон, возле тебя я помирать должен? Моя женочка с дитешонками меж дворов по Москве ходят голодны-раздеты, побираются Христа ради, а здесь я на прокорм и копейку не соберу? Да что я тогда буду за человек?! Тля, гусеница, червь навозный... Государь с тем и ставил возле тебя, чтобы был я, как воевода на кормлении. И все Белозерские выселки с погостами мне даны в кормное место, я для всякого смерда Бог и отец. Иль ты еще не почувал, как я тебя вбивал в темничку? Да, не озоруй и помни».

«Степан, Степан... Темный ты человек. Попил ты моей кровушки. Я тебе все простил и зла не держу, но был ты вепрь, вепрем и остался. Я бы тебя и онагром тупым назвал, дак опять ты пообидишься. Не чурайся, пристав, того, что входит в тебя, но бойся того, что выходит...»

... Лишь с месяц и похозяиновал Никон в Ферапонтово, вкусил прежних почестей, уже мыслил и подводы ладить на Истру. Но с Москвы привезли срочный наказ, чтобы службу Яковлева, что шлялся по Москве со сплетнями, сыскать и вчинить в тюрьму. Никон заупрямился поначалу, не хотел отдавать службу приставу в руки, называл его вором и разбойником, а царскую грамоту – ложной; де, все это придумки дьяка Дементя Башмакова. Но, покричавши, остыл, выдал Яковлева. Понял Никон, что в Москве не думают о его возвращении, и решил смирением умиловить Алексея Михайловича. Призвал к себе в келью Наумова, спросил: «Какой с тобою мне приказ от великого государя?» – «Царь приказывал просить прощения и благословения».

«Ну, прощаю... прощаю царя, и царицу, и чад его. Вот моя рука в том, досадители и погубители Христа. Куда мне от вас деться, коли кругом прижали. Возомнили себя полднемным солнцем, заступая чужое место, о чем и не смыслите вовсе. А милости не даст, так и вновь проклянута. Так и донести можешь...»

И отдал приставу письмо.

* * *

Перед морозами и остров на озере отсыпали длиною в двенадцать сажен, шириною в пять сажен и высекли каменный крест с поминанием: «Никон, Божией милостью Патриарх, поставил сей крест Господень, будучи в заточении за слово Божие и за святую церковь на Белозере в Ферапонтове монастыре в тюрьме».

Зимую дорогу к Ферапонтово пробили через Бородаевское озеро, мимо поминного креста: и всяк, кто попадал в обитель пеши иль саньми волокся, то непременно молились на рукотворном острове и желали здоровья святому старцу.

Как когда-то Никон спасся на Кий-острове, воздвигнув позднее Крестовый монастырь, так и ныне, лишенный всякого свободного места на Руси, он, мятежный монах, сам себе нарыл

древянную коргу, чтобы на ней сберечь свою душу; столько-то и сыскалось земли великому чернцу, но для вящей славы и ее хватало, чтобы от камежника из дикого усторонья свет ее пролился во все углы царствия.

... Затейщик, устроитель великого дела, самозванец и гордец, неужели ты и в тюрьме в долгом одиночестве не разглядел всей губительной хвори от твоих непрошенных перемен, что, источая коварные яды, истиха, как сиреневый туманец, заструилась по весям?

Ах, да... Благое же начиналось! От запойного сна, из болотных трясин и тинных покойных заводей потянули народ за шиворот к свету, чтобы очнулся он к новой жизни...

И вместо бражного гостевого дружного застолья, вместо победной братчины вдруг угодила Русь на тризну, где по кругу пошла не братина, полная стоялого меда, но ковш кровавой росы.

И как тут завопили бесы-ы, торжествуя!

Ах ты, Господи, прости и помилуй нас грешных.

Не игра ли то судьбы иль Божье отмщение, что именно ты, Отец отцев, затеявший бранный заздравный стол, вдруг первым же и угодил под безжалостную секиру, которую, оказываясь, во много лет оттачивал для других.

Глава четвертая

Уже три года просидели мятежники, запершись от властей в Соловецком монастыре. Вот и Разю казнили, а его сотоварищам, взрезав животы, черева вытащили собакам на поедь, посадским на устрашение. Но на Севере дальнем не утихала смута. Пламенные галки прилетели туда и подожгли окраину.

Царь никак не мог поверить в серьезность намерения, ведь только с ума шедший станет сидеть на камени посреди стылого моря, теща наивную мечту; думалось, ну поупорствуют воры, потешат прихоть свою и бестолковость лживого сердца, а вскоре и опамятуются, ибо против рожна не попрешь, государева сила и былинного богатыря сронит на колени...

Да и то, братцы, куда деться из полуночной страны, окруженной водою? в какую землю податься при случае? где сыщется тот благодатный край, если придется бежать? где приклонить голову в остатние дни и какому Богу тогда молиться в чужих людях, в окружении извечных еретиков, нороящих обнищить и без того жалкое житье?

И всякая здравая головушка, в коей сыщется мыслей хоть на щепотку, решит без сомнения: совсем, де, окривели монахи в своей смуте и, ради одного лишь противления государю, ослепли очми и приоскудали ветхой душою вдали от престольной.

И Алексей Михайлович поначалу так полагал и потому поноравливал Соловкам, хотел устроить все миром. Ждал, когда опомнятся грешники и покорятся правде и закону.

И год, и другой не прихаживает царь с войском под стены, а значит, трусит, решили соловецкие старцы. Значит, не совсем ослаб в вере и не до конца приклонился под латинян. Чует православная душа грядущий суд и сама себя стережет. И со дня на день ждали затворники, когда восплачет царь, и принесет свои вины несчастным, и мужеством сердечным победит тех бесов, что окружили его на Верху, и погонит прочь со Двора назад в порубежные земли...

Ах, какой то будет благословенный день для Руси, какие пасхальные благовесты польются из края в край, заливая медом хвалебных песнопений жемчужное северное небо, какой тогда устроится мир. И чем пуще обхаживал царь Соловки, присылая туда послов и увещавателей, чем дольше медлил он с военной силою, тем крепче возгоржались мятежники, вдруг почував свою несокрушимую силу. Полтора года просидел стряпчий Хитров в Сумском посаде, дожидаясь монахов для сговору, а они не явились, шапку заломили, как панове, и всякое благоразумное слово прочь от себя. Стряпчий Волохов отправил холмогорского попа с дьяком для уговору, они же, мятежники, послам бороды драли, скуфьи на землю стоптали, вопили в ответ: у нас одно положено, что по новым книгам петь и служить не хотим! На то мы и в монастырь сели, чтобы помереть! И если Волохов и впредь к нам пришет, то мы его посланника в тюрьму засадим...

Отчего же так замутились соловецкие старцы на морском отоке, чем таким непростительным досадил государь, что нельзя и мировую сыскать?

Царь мнением мира пренебрег: он православную веру, чем русский крепится на земле, решил самоволкою, по своей нужде и прихоти иначе, так высокоумствуя во Дворце, что его слову всяк должен гнуться, не переча. Он же, великий государь, народом был избран на престол, по его воле воссел на власть, и вот отобрал не только свободу, не только годящее совестное слово, но и само крестное знамение и всех верных, кто поднялся за святую веру, изгоном гонит по Руси, всаживая в костер и на плаху. Десять лет молят соловецкие старцы, чтобы не касался государь их веры, оставил бы во спокойе с церковью отцев и праотцев, но Алексей Михайлович, вдруг возгоржась пуще солнца, не сделал во все долгое время ни одной уступки. Мало того, уже четыре года вовсе теснит. И не выдержали монахи, пожелали мщениа государю-гонителю, ибо стал для них царь слугою антихриста, мучителем. Но какое мщениа на последних силах можно придумать Первому Господину, когда и за одно-то слово правды режут

язык и рубят руки? Как воспротивиться, чтобы всем стало в науку? И вот из беспомощности, из слезной горечи, что застыла на сердце, от страха перед Господом и за будущее Руси, скользящей в пропасть великой смуты, и решили старцы запереться в обители и отказаться от самодержца. Пусть казнит страшной казнию во славу Господа...

* * *

Стряпчий Игнатий Андреевич Волохов три лета толокся на Заяцком острове, не решаясь всем отрядом переплыть узкую салму и встать табором под стенами. Стрельцы мерзли в палатках на голом камени, испытывали хлебную скудость, безделицу, бескормицу и неустрой, в конце сентября сплывая назад в Сумской острожек на зимний постой. В семьдесят втором по тайной ябеде стрелецкого полуголовы был стряпчий отозван в Москву на дознание.

... Вина государя была в том, что дело застыло в нерешительности, было пушено на Божий произвол, хотя попервости можно было решить одним днем; растерянность царя, его страх пред грядущим Судом, неотчетливость будущего, куда вступал он робкою пятою, – все это и сказывалось на смуте. Как лесовой пал, она переметывалась по Руси, выжигая проплешины, а после как бы проваливалась на время в землю, чтобы в ином месте вспыхнуть с новой силою. И в том, что мятеж тлел, всякий год принимая новые обличья, виделась Божья кара.

Потому царь повелел лишь осадить монастырь, постоянно стесняя его плотным приглядом, чтобы не везли туда ни живности, ни припасу. Но, сидя в престольной, он лишь с чужих слов представлял островную жизнь и не ведал поморского духовного согласия, коим было плотно окружено монашеское житье. Кроме каменной стены еще стояла слитная переграда людской любви и ревностной помощи. Монахи были в большинстве своем из местных, состояли во многом родстве, да и Поморье не могло кинуть на голодную смерть своих верных молельщиков.

Царь наказывал Волохову: «А ратных людей, которые с тобою присланы по наряду, для приступов к монастырю не посылать, и из пушек по ограде не стрелять, и никакого воинского промыслу над монастырем не чинить...»

И чтобы не бросить тень на государя, Волохову вчинили в вину то, что он якобы архимандрита Иосифа в Сумском острожке драл за бороду, волочил за власа, потом всадил в тюрьму и заковал в кандалы; де, стрельцов своих призывал к мятежу, чтобы грабили те монастырскую казну; и якобы окружил себя попами-самоставленниками и прямыми еретиками; да всяко неволил оброчных мужиков и уольских приказчиков, требуя от них мзды...

В июне семьдесят второго года прибыл на смену Волохову стрелецкий воевода Клементий Алексеевич Иевлев. Команду в шестьсот человек сумел переправить на Соловецкий остров и даже пробовал осадить монастырь, послав несколько семифунтовых ядер из единственной большой пушки в тринадцать пядей в длину, но скоро не стало свинца и пороху; а когда пошли приступом с лестницами на стену, то вдруг обнаружилось, что двинские стрельцы к военному делу не свычны, оказались не только артиллерийскому бою, но даже и пехотному строю не учены. А ежедень ествы горячей подай им, и квасу монастырского, и бражного ковш, чем бы умаслить сердце, да жалованьем не тесни; опять же нужны подводы и лошади, и корм, морские лоды, кормщицы и гребцы. А городничий Иоиль, что был оставлен вместо архимандрита Иосифа, совершенно отстранил воеводу от хлебной житницы, от соляных угодий и казны.

В зиму жить на острове воевода не решился и съехал на берег, в Сумской посад. Но по весне, когда вскрылось море, вернулся назад, не зная, что еще предпринять. Боясь навлечь на себя государеву немилость, решился, однако, и перебил монастырский скот, выжег вокруг обители дровозную избу, конюшенный двор, сенной сарай, и сетной амбар, и солеваренные станы, и ледники, и кельи трудников и служек; в общем, совершил то, к чему не могла монастырская братия приступиться, жалеючи добро; и когда полыхнуло пламя, то, мало погоревав,

вдруг мятежники вздохнули спокойно, ибо трудное для сердца дело, но необходимое, было исполнено по Божьему изволу вражьими руками.

Иевлев с неделю и пробыл под обителью и, ничего не добившись, окончательно вернулся в Сумской острожек и вскоре был затребован в Москву.

Братия же порушила щанцы у Никольских ворот, расчистила гари, высекла лес у губы Глубокой и вокруг Святого озера, и стало под обителью пустынно, как на ладони, просторно взгляду, и ни одному лазутчику отныне не прокрасться под стены; разделали лес на дрова и сволокли в обитель, оставив и двор, и каменные печуры, переграды и простенки поленицами лет на десять; в тепле-то с готовой растопкой только мертвый не живет, а ленивому и старцу вовсе безунывно и смело...

Бельцы и наймиты в конце июня вскопали, как и прежде, огороды, насеяли репы, взяли под осень дивный урожай и нарубили репного крошева зимы на две всей братии на шти. Да грибов по осени наломали телеги, наварили и насолили кади, да ягоды голубели и черницы натомили ушаты, да бочки брусники замочили, да морошки наквасили; а с этой лешевой едой и вовсе не тужи, христовенький.

Да тогда же наловили соловецкой жирной сельди, зверя набили для сальниц и сапог да поехали на Анзерский остров к монахам и там купили сто пуд палтосины, да к ним же приплавил из Ковды крестьянин Евсютка, верный закоперщик, сто пуд рыбы, да кемляне доставили сорок пять пуд трески, а сумляне – тридцать пуд масла, хоть какая-то будет прибавка к тем запасам, что еще хранились на погребцах. Да в Мезени и Кеми прикупили сукон, холста на рубахи, кож да овчин. Да в Великий же пост зерно наново перемерили и переносили в другие амбары у Святых ворот и одну житницу насыпали полную ржи, а другую – муки, и получилось хлебного запаса лет на семь-восемь...

Торопились монахи, чуя грядущую цареву немилость; гроза долго, молчаливо темнится, глухо ворча, но когда-то и грянет; долго запрягает государь военные обозы и тихо попадает к мятежникам, дожидаясь смирения, но когда-то и здесь будет.

От Никольских ворот до Квасоваренной башни стена была низка, кладена кирпичом, и чернцы нарубили по верху бревенчатые тарасы и покрыли крышею; а башня Квасоваренная оказалась низка, так из колотых плах накатали раскат деревянный для пушек; да от Анофриевой церкви на сушильной палате натесали помост для крепостных пищалей верхнего боя, и по всем обломам и башням вдоль стен разоставили на станах шестьдесят три крупных и мелких крепостных пушки, годных к бою, и натаскали из погребов ядер, и сложили грудками в печурах, да принялись же бронные мастера занаряжать гранаты, благо порошу в казне под Геронтовой кельей оставалось бочек с шестьдесят, а в каждой пудов по десять...

Да слабых старцев двенадцать человек выслали из монастыря на берег, чтобы зря не переводить хлеб; но тут же и запоздало опомнились мятежники, решили лучше морить несогласных в тюрьме, чем плодить изменщиков.

И как в воду глядели...

Глава пятая

Дробненькое нынче белозерское небо, веселое, как бы писанное травами чуткой художной рукою; малахитовая нежная зелень вчастую испрошита алыми жилами, и не поймешь, то ли кровца жертвенная сочится, то ли малиновый густой узвар пролился из опрокинутой братины в господевых покоях. От благостного неба и душа-то, не устающая дивиться неиссякаемой Божьей нежности, скоро кротеет и полнится ответным доброрадным проникновенным чувством. И не диво ли, братцы?! ведь в гнилой угол западает солнушко, в темные каморы, в тесные юзы опеленают его во всю долгую ночь, а оно вот, неиссякновенное, и напоследях посылает коченеющей земле ласковые улыбки...

... Боже наш, помилуй нас!

Легкий ветер-шалоник потянул, влажно обдул лицо, и если слизнуть с усов, то останется на языке легкая медовая сладость: то из палестинских Христовых земель принесло нарда и фимиаму. В берегу уже припорашивало сутемками, и там заморщила хрустальная вода-наледца; в промоине близ виски, где не вчера ли еще стояли рюжи, нынче к вечеру промыло стрежь, и у края ломких овсяно-желтых камышей бухали хвостами вешняки-молоканы, обхватившая маток, то и дело показывалось над водою жесткое щучье перо и обмысок пятнистой сзелена спины.

Казалось, зимы не пережить; студливая, обжорная, надоедая, она так плотно загостилась в Ферапонтово, так неприступно обложила снегами, что и веками не вылезти из этого снежного острожка. А к Пасхе вот в два дня и дали засиреневели, замаревели кусты ивняка, и прозрачная белесая стружка заоблупливалась с коряжистых берез и с тихим шорохом, подгуживая, затрепетала на ветру. Скоро, скоро последний санный путь падет, и в этой временной раздорожице в Ферапонтовы скиты по просовам и зажорам не только лошадьми, но и пеши решит забраться лишь самая богомольная душа иль кто по крайней заботе.

Солнце скатилось за Цыпину гору, обложило золотым прощальным окладом волнистый окоем, и сразу, как из преисподней, подуло стылым погребным духом, и теплая ряса, до того влажная, сразу встала колом. Инок Флавиан, не чужа холода, беззаботно скалился на запад, пощипывая светлый ус; щеки у него заветрели, как два медных сковородника, в глазах веселый хмель. Овчинная еломка сбита на затылок, на лоб упал пшеничный лихой чуб. И с час вот так проторчит беззаботно, как пешня во льду, бессмысленно тарашась и считывая с небосклона каких-то своих мыслей...

«Очнися, беззатейный человек! – мягко окрикнул Никон. Пальцы как-то вдругхватило стынью, и он сунул ладони в вареги. – Не ночевать ли собрался? Иль в бега решил? Так меня спросися». «Ой, владыка, наше Благополучие, – пропел Флавиан, торопливо поклонился. – И сплю, и не сплю. Вот чудо. То ли на клыросе я? То ли ангелы с неба клырощанят?» – «То в брюхе у тебя поет, сынок... А ну, давай с Богом да с песнякой. На зло врагу человеческому. Напоследях заведем сетчонку, пока нас искать не хватились. Авось подфартит». – «Пошла рыба-то, – с восторгом отозвался Флавиан. – Вон она, забродила, сердешная, не ко времени. Иль черт блазнит, мешает мутовкою воду, окаянный?..»

И рыбаки двинулись по озеру, всматриваясь в зажоры, чтобы не угодить русальнице в охапку. Монастырь темнел на польсевшем берегу меж снежных заплат, словно гранитный камень-одинец; вороны вились заполошно над мереженной палатой; знать, монахи доставали из сушила снасти на починку, готовились к путине. Рыбака одна заря красит. На отмелом месте за насыпным островком, где лед еще стоял плотно и не издряб под игольчатым снегом-наракуем, монахи споро проббили пешнями две майны, шестью-пехальницами протолкнули в воде ужища. Помолились каменному кресту, похожему на иссиня-черном озере на пойманного в засаду путника... Господи Иисусе Христе, Боже наш, помилуй нас...

Никон потиху сбрасывал полотно в прорубь, чтобы впусте не замотать добрый зачин; Флавиан со своей стороны тянул из иордана поплавок к себе, умиренно взглядывая на монастырские Святые ворота и на слюдяные оконца казенной палаты, окрашенные алым, на тусклую покать неба с косым парусом тучи. Знать, с востока накатывало ночным снегом. А руки-то чутко слушали сетные переборы, сбрасывали кольцами на лед, и сердце с замиранием ждало, когда толкнется в ячею острая щучья голова, ульнет костяной щекою за нитку... Вот и монаху, оказывается, живущему лишь молитвой, и послушанием, и твердым постом, до смерти близко и неиссекновенно мирское чувство удачи. Флавиан забыл и про кожаные верхонки, и вода, сливаясь с переборов на голые багровые руки, обжигала, как кипятик; но чернец этой боли не чуял, только кривая ухмылка как бы приклеилась к щекастому заветренному лицу. И то сказать: с полудня секли пешнями озеро, искали удачи, до устали полоскались в воде, и неуж с пустыми руками, на радость завистникам, и кончить послушание?

И тут заходило, заполоскалось в майне, натянулась сеть и поползла в глубину, выдирая тетиву из заколевших пальцев; казалось, сейчас кожа сползет лафтами с кистей и обнажатся сизые суставцы и кости.

... Да какая там боль? Сердце подпрыгнуло и застряло в горле. Выворотил Флавиан на лед щуку; экий оковалок, пуда на два потянет, матка-икряница, похожая на осиновый пятнистый окомелок, вся ровная в теле. Щука вдруг сама выпросталась из снасти, уже готовая метнуться в воду. Но и монах в своем деле не простак, и не этаких расторопниц обхаживал. У него и колотушка березовая у ноги. Споро перетянул матку по костяному лбу и отвалил рыбину от греха подальше. А тут и снова заиграло в майне. Еще достал трех молочников-пудовиков да несколько травянок. Знать, все стадо переняли, встали на тропу. Подноровила удача.

«Давай собирайся, не промешкав, и пойдем», – сухо прикрикнул Никон со своей стороны проруби, словно вздумал перейти по воде, аки по суху. Взглянул на иордань. Ледяное крошево уже остыло, стянулось пленкой. В западе пролились брусничные реки, по-над озером потянуло сквозняком. Никон слегка приобвалился на пешню, задержал взгляд на небе. Почуял, как всякая телесная костка и жилка истомилась и ноги в голених будто натуго пережало оборами, сырью натянуло сквозь кожаные уледи, в сапогах хлюпало, как в болотине. Но монах еще храбрился, не давал себе послабки. Флавиан смотрел на Никона во все глаза и дивился его святой красоте; закатные отсветы легли на морщиноватое обличье монаха, разгладили его, и медяного цвета лицо стало умиранным, почти неземным. Словно апостол Павел вдруг явился в северные земли из палестин, чтобы объявить о вселенских грехах. Такие вот святые люди, головою достающие до небес, писаны художной рукою изуграфа Дионисия по стенам Рождественского собора.

«Заснул, что ли, чудо ты гороховое?» – повторил Никон, смягчив голос, поддаваясь детскому чистосердечию служки. Тот собирал рыбу в крошни и невольно загляделся на икряницу, ее почти женское пузё, всклень налитое икрою; из устья тонкой желтоватой струйкой уже стекали крохотные яйца; щука сонно млела, выворотив на монаха змеиный мрачный глаз, и костяные жаберные щеки хлюпали, как горновые меха.

«Живуща тоже... Гли-ко, жива душа, хоть и кровь рыба, – зажалел Флавиан добычу, огладил пробежистое слизкое тело, уже тронутое по хребту смертной изморосью. – Фунтов пять икры-то потянет. Сколько бы наплодила баба, ой-ой».

И завалил скользкую, еще трепетно нежную щуку в берестяной пестерь.

«Тебя до ночи ждать? Сухой нитки на мне нету», – зажалобился Никон, не стерпел, подошел к служке, устало сронил голову, и ничего пастырского, владычного, что вводит простых смертных в слезливо восхищенный трепет, не осталось в старце. Будто древний изжитый дедко с ключкой подпиральной оказался возле иордани любопытства ради, чтобы восхититься удачей рыбака.

«Пола мокра, дак и брюхо сыто, – ответил Флавиан, позволив себе неожиданную вольность. И сразу опомнился, пропел ласково: – Ой, батюшко, Свет наш владычный... Не нами молвлено: рыбака одна заря красит. Бог послал свежинки заради Светлого Воскресения, отвалил гостинчика. А нынче же икорку разматаем, пересыплем сольцою, да и так ли хорошо откушает наше Благополучие...»

«Будет тебе, воркотун...»

Никон скидал снасть в крошни, пестерь же с рыбою хотел вскинуть на загорбок, но служка восстал, перехватил лямки.

«Пособи, великий старец. Твоими молитвами и живем. Эко ты о нас, грешных, хлопчешь. Без тебя, патриарх, мы бы давно Богу душу отдали...»

Скоро стемнилось. Надо поспешать. Неровен час, угодишь под лед, поминай, как звали. Монастырь впереди чернел причудливой уступистой горою, сулил тепла и затулья. В окнах надвратной церкви Богоявления мелькнули огоньки, а после ровно, мирно затлели: то иеромонах Памва возжег свечи, готовился к службе, поджидал к вечерне великого старца, боясь прогневить. И вдруг почудилось Никону, что из низины от переклада через ручей метнулись две, нет, три фигуры, низко нагибаясь, пробежали к монастырю с южной стороны, перекинулись через ограду... Да нет, пустое втемяшилось: какому находальнику нужна нищая смиренная обитель, где монахи едва перемогают зиму рыбкой-сушняком да житними колобами? Захотели бы разбойники пожитьяся, так осадили бы Белозерский монастырь; там-то плотно стоят царевыми дарами, да и сытно, нехлопотно едят... В темени-то что только не примерещит. Никон протер глаза, едва дотянув до лица чугунную руку. Невольно вздохнул: эх, укатали сивку крутые горки, было ежено, диво на диво; а нынче вот раскис, как кисель гороховый.

... Сейчас бы оладушек с медком, да груш в узваре, да арбуза астраханского и папушника отломок. Голодный-то, кажись, и свой палец укусишь. Давно ли многопировником был, лебяжьих крылышек из государевой руки не хотел, стерляжьим мясом брезговал.

... Вот он, грешный ветхий человек, и на конце света при последних годах донимает меня. Невольно вздохнул Никон. Рядом пыхтел Флавиан, ташил на горбе пуда четыре рыбы, да и у Никона торба не впусе, давит на крылья, выжимает соки. Ряса на вате встала колом, гремит при каждом шаге; вот и луна вылилась, узенькая, серпиком, последние снеговые заплатки заголубели, и розвесь березовых ветвей, отпотевших днем, сейчас заискрилась, унизанная густым алмазным крошевом.

... И где дворцовые потехи, игра ума и кудесы сердца? Душа в суете, как зобенька берестяная, все гожее вытечет вон, не ужмешь в запасец...

... Это Господь родимый меня милует, протянул руку и спас, услад сюда.

И снова вздохнул Никон и неведомо отчего всхлипнул. Глухо закашлял, сглатывая слезу.

В Святых воротах горели ночные фонари, доправленные тюленьим жиром; вахтенный стрелец сквозь решетку выглядывал подошедших, а узнав старца, облегченно вздохнул; слава Христу, обошлось без греха. Пристав уже икру мечет, места себе не находит.

«Прибери рыбу-то, да отдай стряпущему. Там подкеларник разберется с уловом, куда деть. Да неси с поварни, чего потрапезовать, милый человек», – приказал Никон и, пригребая закоченелыми сапожками, побрел к себе в брусяную келеицу.

* * *

«Помыкаю им, как работником. А он ведь рясофорный монах, мне совсельник, братец келейный. Захочет – и отбою даст», – туманно подумал Никон о Флавиане и тут же призабыл его.

В клетки было жарко натоплено, услужила братия. Еще в сенях кой-как стянул с себя лопатину, остался в одних исподниках. Снял с шестка корчагу, плеснул в лохань, опустил ноги

в парящую воду, и так вдруг истомно стало, что едва сдержался, чтобы не вскрикнуть; левое веко задрожало в ознобе, и глаз стал худо видеть, будто бельмо натекло. Над низенькой дверью под притолокой висела парсунка в раме; такая же в свое время была и в келье на Истре. Сидит монах, прикован цепями к камени, и на нем написано: нищета... В слюдяное оконце, сшитое нитками из лоскутьев, взглядывал краешек луны, и блеск ее ложился на картину, отчего лицо старца благоговейно светилось. Тихо было, сонно, оцепенело, и, казалось, келеица походила на янтарную лощеную склышечку, заключенную в темно-синий бархат. Слышно было лишь, как скреблась в запечье мышь, угрызая сухарь, да сухо потрескивала на столе свеча в шендане.

А душу-то бередило тоскою, худое чуяла она, прозревая сквозь ночные стены, как враги сатанинские окружили монастырский заплот, перекинулись через переграду, а сейчас торопливо точат лазы в монашеское житье. Боронися, крепко стой, великий старче, супротив орды!

В окне сблзнило белым, словно бы сплющилась о слюдяную шибку чья-то рогатая образина, оставила по себе запотелый следок. Никон встрепенулся, отчего-то обмирая ужасом и восторгом, скоро метнулся к передней стене, забыв усталь, задернул ширинку, запалил на столе второй стоячий шендан, не прижаливая свечей, и прислушался: в передызье кто-то вкрадчиво прохаживался по хрустящей замороженной отаве, крикал, булькал горлом, пристанывал, словно изгонял из груди чью-то невинную жизнь, отворя загустевшую от страха кровь на ночную землю. Невидимый порчельник, он сейчас кровавым лезом проведет на стене разбойничий крест, той окаянной чертою разоймет насквозь бревенчатую чернецкую скрыню и незримо войдет в келью, такой чародей и проказник.

И воистину дверь в сенях со скрипом отворилась.

Никон, целуй вериги, обметанные седым медвежьим волосьем; обхвати пуще древко креста, чтоб не унес в тартары черный хвостатый вихорь! Это на людях ты патриарх и великий Отец, но в глухой северной келье ты лишь смятенный бессонный воин, осажденный всей подземной вражьей силою.

... А вошел Флавиан, улыбочивый, простоволосый, с зоревым лицом, будто испил в укромном месте с братией ковш браги; с пристуком поставил на стол горшок с ушным – горох с лапшой, чашку соленых огурцов да репы печеной и кружку квасу; из зепи на груди добыл однорушный ломоть ситного. Сказал, не замечая заметели в глазах Никона: «Ешь, батько! Самая то нажористая еда. Хотел икоркой постной потчевать, да ишь ли, не ко времени, богоданный». – «А ты никого не приметил у кельи, бродника какого? Вроде бы кто домогается нас?» – «То стрелец Петрушка помочился на угол, такой бесстыжий. Вся келью обос... Я его прочь погнал, озорника. Не нашел себе другого места... А что, батюшка, ино тебе худого помстилось от натока крови? Сам себя изводишь трудами не жалеючи, до изнеможения сил».

Никон не ответил на укоризны, опустил на лавку, раскорячил ноги, близоручко разглядывая расплющенные ступни с простудными розовыми шишками и с бахромкой отжившей кожи на пятках. Флавиан склонился, без просьбы вытер Никону ноги полотенишком и только взялся за лохань, чтобы выплеснуть воду у крыльца, как дверь в сени самовольно приотпахнулась, показалась кулижка вялой, в измороси, травы и горбушка насквозь пропеченного снега. Сквозняк протянул по клети, пламя свечей круто изогнулось, но не умерло, оживело вновь.

«Господи Иисусе Христе, Боже наш, помилуй нас!» – раздалось из темени.

«Аминь», – облегченно отозвался Никон, уже готовно принимая незваных гостей; какие бы ни случились отчаянные разбойники и побродяжки, но для скитского всяк православный – посланец Божий.

Кто-то невидимый простудно бухнул в кулак, из ночи, опираясь на дорожную ключку, вытаился высокий пригорблый монах в дорожном кафтане и черном куколе на голове, низко надвинутом на глаза; наружу выставал лишь покляповатый вислый нос и клок сивой бороды. Провожал чернца ражий детина в рясе с чужого плеча и суконном колпаке; на плутоватом

рябом лице угрозило посверкивали крохотные свинцовые глазки... Экий варнак, право; ему бы шестопер в руки да в засеку на разбойную тропу.

Никон досадливо сморщился при виде поздних гостей; уж больно развязны они, как в свой дом вошли, незваные, и чужого тепла не берегут.

– Притужни дверцы-ти, милоч! – прикрикнул. – Не лето на дворе.

– И Сын человеческий пришед на землю и не всяк узнает его, – буркнул, не подымая глаз, высокий пришелец, скинул в угол сеней дорожный кафтан. Его сотоварищ остался в сенях, притулившись к ободверине; от него ощутимо тянуло злом.

– Много бродит на земле схитников Христова имени. Не из тех ли и ты, поздний человек? Ну, да ворону не достичь широты орла. От скверны и падали пучит брюхо...

Гость дернулся на язвительные слова, сверкнул взглядом, длинная плешь налилась кровью.

– Братец, помоги сдернуть сапожишки, – попросил святой старец Флавиана. – Гостя потчуют не с языка, но из хлебной чашки... Ко времени подгадал, добрый человек. Как поглядел. Ушное-то простыло. Я и сам, признаться, изгваздался за день-то, живой мясинки во мне нет. Только думал похлебать чего, да ноги растянуть до часов, а ишь ли, Господь-то и спросылал во трапезу дорогого гостенька. Гляжу, издалика претеся? От кого бежите иль кого догоняете, милые?..

Многословьем Никон запирал в себе тоску и тревогу; давно ли едва приплелся с трудов в монастырь, но сердце-то пело Лазаря, и скитское уединение чудилось давножданым раем, а царева немилость – Господевой наградою. Но за стенами-то монастыря, оказывается, дожидались пустые заботы и долгая бестолочь.

Флавиан сдернул бахильцы, поставил на засторонок печи для просушки, помог размотать созревшие онучи, подлил в лохань горячей воды. Гость сидел в забытии, откинувшись головою к стене, призагмлив мрелье опустевшие глаза; нижняя губа вяло опала, видны были желтые, стертые, еще крепкие зубы с хищными клычками; белоснежная борода стекала витыми косицами вдоль брыльев, словно бы ее скручивали на горячий гвоздь. Никон с пристрастностью обыскивал лицо пришлеца взглядом и внушал себе, что никогда не знал его... Богомольник ли запоздалый по весне приперся? иль по нужде болезный человек стоптал сапожишки, чтобы просить у Господа здоровья? иль притащился несчастный грешник в тьмутаракань, чтобы сбросить с души смрадное и наполнить грудь покаянием?

– Не чинися, страдник. Дай монаху исполнить завещанное послушание...

Никон пересел на низенькую скамейку, Флавиан подтащил лохань к гостю; тот дернулся поначалу, как ошпаренный, но тут же и поборол смущение, опустил плюсны в воду, и какая-то спесивость и презрение вдруг проступили на его обличье... Оле, Никон! сколько же всяких православных ног перевидал ты на своем веку, обихаживая грецкой губкою, споласкивая с них тяжкую пыль дорог и земную усталость, чтобы душа утихла: изнеженных, барских с узловатыми от жирной ествы и обильного питья узкими плюснами; и шишковатых, в рубцах и шрамах, мужицких ступней; и мозолистых, в проказе, сбитых до язв и проточин, у нищих и калик переходящих. И всякий раз Иисусова молитва, пожирающая бесконечно твое сердце, помогала не видеть брENNую ветхую плоть, как бы затмевала от взгляда все эти вулканы и чирьи, плесень и гной, и гнутые по-орлиному, заплывшие перхотью ногти, и черные узлы немощных жил, где уже поселился смертный червь...

Никон увидал шестопалую, узкую, по-женски тонкую, как бы лакированную до блеска плюсну и вздрогнул; он едва приподнял глаза, уже верно зная, кто перед ним, брыластый и лупастый, с белой пролысиной шрама на горбинке носа и брезгливо опущенной толстой нижней губою... Но тут же овладел собой, спросил ровным, незамутненным голосом:

– А я думал, что за варнаки перекинулись через стену? Уж давно вас заприметил и все ждал. Не зря же лезли, верно? Ты что, еще не помер, нечестивый?

– Укуси, коли не веришь, – гость взбурлил ногою воду в шайке.

– Живой, бесенок... Для тебя что, и смерти нет? Слышал, слышал, как на Суне-реке у меня под боком чертей тешил, содомит поганый, под иудову пятау православных сбивал.

– Успокойся... Будет брюзжать-то. Чай, не помнишь, что не простой человек пред тобою. С мудрым я мудрый, с князьями – князь, с простыми – простой, а с моими недругами рассудит меня сабля...

– Но давал же ты, нечестивец, причащаться сушеным детским сердчишком? Сколько слухов про то ходило...

– Не верь басням, патриарх. Где-то чихнуло еще, а за версту уже молвят: де, помер. Пустой наш народец-то, легковерный. С тем и живет.

– Лучше бы ты сдох, Голубовский. И чего маешься?

Лучше бы тебя грозой рассекло иль саньми стерло на раскате, чтобы скорее закопать подальше от людских глаз, – сокрушенно прошептал Никон, не выбирая слов.

– А-а, помнишь меня! Не забыл святаго? – воскликнул ночной гость, проглатывая обиды. – Но признайся тогда, Никон, почто терпишь меня? Почто не выдашь в расправу? Да и то сказать, за что меня мучить, праведника?

– Правед-ни-ка-а, ха-ха! – передразнил Никон и невольно рассмеялся. – Да дьявол ты, дья-вол, моя вторая половина... Знай же, алгимей, я помру и ты не заживешься, уйдешь следом, не замешкав. Так и запиши себе в помянник, чтобы не забыть, и следуй за мною. Никак не изжил я тебя, сатаненок, – вдруг признался старец в самом сокровенном, не устыдясь сторонних ушей, выдал то, чего не доверил бы и отцу духовному. А может, минуты той не случилось? Вот тлела болячка воспаленно с давних пор; может, и с самого рождения, а тут и прорвало вулкан от долгой надсады, и как бы мельничный жернов скинул с плеч, так легко стало Никону. И добавил, повеселев: – Вот и терплю тебя, вражий сын. Дожидаючись смерти, терплю. И не странно ли?..

Голубовский не ответил, но хранил на губах усмешку. Никон близоруко всмотрелся в сумерки сеней и, притушивая ненужный утомительный разговор, окрикнул атаманца, что угрозливо маячил у двери и метал в келейку досадливые взгляды. Время поджимало, и до третьих петухов надо было незаметно сняться из обители.

– Экий сумясок! Иди сюда, ноги ополосну...

– Нет-нет, – резво, тревожно остановил Голубовский. – Ты, Прохор, лучше встань-ка за дверь, да там постереги от недобрых. Я не засижусь, не бойся.

Сотоварищ так же молча прикрыл за собой двери. В келейке установилась тишина. Слышно было, как поддувал за окном ветер-сиверик, промораживал растеплившиеся снега. Флавиан не поймал тайного смысла досужей беседы, бездумно повалился на лавку, натянул на голову кафтан, но насторожил слух на крайний случай, чтобы остережиться от беды; и с этой мыслью вдруг сразу забылся и так громово всхрапнул, что пламя свечей загнулось и ветер с испугу прекратил ныть в трубе.

Никон разломил горбушку наполю, вылил выстывшее хлебово в крынку, помолился и лишь тогда пригласил гостя к трапезе. Голубовский не чинился, с кряхтеньем уселся за стол, отогнул полы просторной телогреи на лисах, расправил бороду, словно бы оберегал от лапши с горохом. Шея у гостя была тоща, посежновенна морщинами, в пупырьках, как у отеребленной птицы, и, несмотря на весь богатый сряд, вид Голубовского вызывал жалость... И я экий же? И я нынь, как куриная гузка, иссох и обшелудивел, невольно подумал о себе Никон, прочитывая во взгляде Голубовского сочувствие к себе.

Они молча таскали из крынки густое разварное постное ушное, подставляя под ложку ржаной кус; ели неторопливо, как-то скушно, без азарту, но мирно, как братовья иль давние друзьяки. Но глаза прятали, будто боялись встретиться взглядом. Никон не допытывал гостя, по какой заботе явился сюда, а Голубовский медлил, подбирал весомые слова. Да и то, не

ради же застолья мят ноги от самой престольной, обходя заставы и рогатки, таился дорогою от каждого коньего поскока; особая нужда привела в Ферапонтово в самую распуту к опальному патриарху.

– Не тридцать ли лет минуло, как ты вытянул меня за волосье из морского рассола и от верной смерти спас?

– Не я спас тебя, Никон. Я лишь руку протянул. Это мальчонка белесенький и жалостный, ну чисто ангел, вымолил: «Господи, спаси нас, юродом стану...» И неуж не помнишь его, старец?.. Он-то слово свое исполнил, стал юродом Христа ради. Был такой, Феодор Мезенец, ты его по застенкам таскал и всяко мучил. Так-то вы любите праведников...

Никон смутился, напряг память; прояснилось, как бы нарисованное на слюдяной оконной пласти, гневливое северное море в сполохах и водяной мороси, молчаливая гора с белым пламенем гребня, вздымающая голову в самое небо, бисер пузырьков, сбегających по отрогу, карбас, вдруг вставший торчком, готовый опрокинуться в кипящий морской проран, полный водяных и русальниц... Еще мужик на корме, с изъеденным до кости лицом, в белой смертной рубахе, что-то вопящий в эту бестолочь крайней на миру минуты... Но постойте, разве был там и мальчишка? Разве был голубоглазый ангел, слетевший с помутившихся небес, глас которого вдруг расслышал Спаситель??? Боже правый, да не мог бы я забыть такого. Не смог бы я забыть святого человека, голос которого достигает Господевой груди...

– Ты что, костерить меня явился? Судом судить? Ну забыл, не помню! Может, наврал все, – резко оборвал гостя Никон; прежние неисполненные обеты тяжким грузом висели на сердце, вдруг напоминая о себе. – Я же сквитался с тобою. Я твою голову от плахи отвел, басурман, а ты все еще выгоды от меня ищешь...

– Ой, бывый, ой, старче, – укоризненно покачал головою Голубовский. – Вот и у тебя, святого старца, в груди червие. А всё от сидячей жизни. Ну бывает, не гневись, милый. Эка невидаль. Вот и у меня нынче мох в голове. Ино загудит в черепушке, будто свирели да накры заиграют... Был, был отрок-то, а после вырос и тебя в Устье зарезать хотел. С ножиком на тебя, да ишь ли, спасли благодетели. Иль не помнишь? А я его выкрал от твоей пытки. Ты его сапогом хотел. В лицо метил... Ежли найти вздумаешь, я помогу. Вот и станет святая троица: Бог, Сын и Святой Дух...

– А где же Дух-то наш? Духа я никогда не попинывал, дерзости подобной за мной не водилось, – скрипуче, с натугой рассмеялся Никон, расслышав из чужих уст подобную ересь. – И для Бога я не годящ, тварь земная. – Он вдруг почувствовал, как стянулась кожа на щеках, будто под палящим солнцем, и лицо ссохлось, стало не более кукиша. Все в нем восставало против непотребных словес, но чем-то сладким, щекотным обволакивало сердце, и против воли хотелось продлить беседу. – Он что, Дух-то твой, расселся безъязыко в земляной яме и оттуда мне показаться не хочет? Хоть бы явил его в обличье...

– Дух Святой живет, где хошет. У него везде дом, всяк оприютит его и в нищей хижке, и в боярских хоробах. И зря ты рыгочешь, патриарх. Тебе-то вовсе не гоже болтать непотребное. Помни, пред тобою человек не простого звания, и по мне на Руси всяк попомнит и через тьму лет...

Голубовский бормотал уже бессвязно, безъязыко, одним чревом, уставив на старца упорный бесстрашный взгляд, словно бы наискивал во вражине становую жилу, чтобы обрезать ее. Слова пришлеца, точно осенний березовый лист, с шорохом осыпались на Никона, погружали его в шелестящую пахучую прелую сыпь. И опасно было тонуть в ворохе, но и смутно до слезы.

– Ничего не помню, вот те Бог. Отшибло память, – легко соврал Никон, чтобы оборвать словесную толкотню.

И время-то зряшно утекало в проран за окном, елейница призывно подмигивала голубоватым зраком под тьяблом, просила старца к себе, чтобы подживить; знать, фитилек повыгорел,

или маслице прикончилось... Эх, куда, в какую затхлую бочажину напрасно упехиваем часы, и дни, и лета, то самое сладкое время для молитвы. Перхаем языком, как коровьим боталом, и тем сокращаем жизнь в Боге и обрубаем пути к престолу. И ведь все речи в напраслину, ни слова о деле. Как любим из пустого в порожнее переливать, не зная в том греха.

– Так зачем ты явился сюда, лютый разбойник, на ночь глядя? Ты во чужом доме ширишься, как пристав. Лучше образам поклонись лишний раз, не обломишься...

– Прости, святитель. Прости, патриарх, – легко повинился Голубовский, язвительно улыбаясь. Он жил другими, сокровенными мыслями. – Время подпирает, а я не знаю, как подступиться к тебе, чтобы ладом все дело решить и тебя не пообидеть.

– Вижу, что не для колокольного звону в экую даль волокся...

– Да и не один, – многозначительно протянул гость и вдруг откинул полу меховой телогреи, вытянул из тугой кобуры длинный двуострый кинжал с рукоятью из витого рога, в коий был хитро вделан стволик шкоцкого солистра.

Голубовский положил оружие на стол, оставив пистоль в грудь святому старцу. На испуг брал. И все прежние, вроде бы бестолковые, ничего не значащие речи сразу обрели грозный смысл. Никон бы не удивился сейчас, если бы гость достал из-под стола гранатную пушку или крепостную затинную пищаль, – такого колдовского, чародейного свойства был этот человек.

Да и то подумать: однажды Русью хотел завладеть из чужой стороны, сесть на державный престол, схитить власть, – и сносил ведь голову, отчаюга; после и скит еретический завел на Суне-реке, приклонившись под Иуду, и много оттуда расплодилось по всеям проказливых шпыней, но и тогда уцелел толковщик; сейчас новый умысел против царства задумал, замесил теста в квашне, чтобы навалить кровавых хлебцев, но и ныне при крайней минуте, когда прижмут, изловчится и скинется в иное обличье, да и унырнет в дикий суземок под еловый выскеть...

Никон не испугался кинжала, накрыл лезо ладонью, мысленно примерил: при случае железо пронзит насквозь. Взвесил в руке, из стволика достал свинцовую заглушку, круглую пулю выкатил в горсть, поняньчил. Сказал раздумчиво:

– Господь, Отец наш небесный, даровал жизнь нам как великую ценность, а ты метишь чинжалом в явленный Христов образ... На-на, испей моей кровушки, коли такой смелой. Ну?!

Слова были тихие, но внятные и бесстрашные. Флавиан оборвал храп, в испуге скинул с головы зипунишко, повернулся на другой бок. Голубовский торопливо обернулся, монах смежил веки, притворился спящим. Гулебщик понизил голос, перешел на шепот:

– Не обижай меня, старче. Я так ли люблю тебя, мой Свет. Хошь, и ниц паду. Я лишь мечтал о государевой стулке, бесталаный, а ты им стал. И вся Русь пела тебе алилуйю. И как скинули тебя нехристи с престола и вырвали посох из рук, так многие тогда восплакали, потеряв надежду свою. И многие иные порастерялись, занедужели душою, упали в проказу; другие же сошли с пути, а многие и вовсе махнули на все рукою и проклиjali Господа Бога, который не постоял за Отца отцев... Не один я ныне к тебе приплелся, Отче, но с целым войском, чтобы в золотой колеснице увлечь на Русь, где заждались православные. Миленькой, великий Государь, и неуж ослаб ты сердцем, разжижнул, как тесто, что позволил ворогам усестись вокруг царя? Мир плачет, вопиет к тебе: «Очнися, Отец, прииди и правь нами!..» Слышал я, что рысь голодная, этот жалкий пристав Наумов, всяко честит тебя и пинает, не щадит твоего святого образа. Лишь вели словом-полсловом, и мы нынче же четвертуем его и голову посадим на пику в назидание сущим разбойникам...

Двести человек со мною. Они стоят табором под Кирилловым монастырем, и завтра вечером мы станем зорить его, заберем казну, и пушки, и коней, и съедомый товар, да и побежим к гулящим на Волгу, где Божий человек Стенька Разин с тьмою людей вольное знамя вскинул... Сыщется ли еще такое времечко, чтобы отомстить подпазушным псам, что отеребили твое крылье и посадили на чепь. Они Солнце наше решили накрыть с головою рогозным кулем,

очернить наговорами. А ты и сквозь теснины прожигаешь наши души пламенным мечом... Солнышко, Свет наш неугасимый, очнися, сорвись с затхлого места...

– Снова на царя взнялся, идолище поганое? Забыл, нечестивый, как на коленях предо мною елозил, молил пощады? – вскипел Никон, приподнялся над столом, грозно вскинул кулачище, обметанный седатой шерстью, расседавшийся от воды и рыбьей слизи, словно бы собрался расколоть бедную голову татебщика как грецкий орех.

Голубовский невольно сжался, слинял лицом. Но лишь на миг выказал слабость, сразу выправил стан, гордовато вздернул посекающую снежную бороденку. Он искал верных слов, чтобы ответить упрямому старцу, так подкатиться под него, чтобы и внезапную бурю утишить, и сердце разжидить; умаслить лестию; не может того статья, чтобы за два года затвора вовсе ископел Никон, позабыл обиды, поиструх памятью... Э-э, не такой он человек, чтобы разом и навсегда простить обидчика своего: мстью живет, мстью и душу поит.

Никон же горбился над столом, неловко вжавшись в кромку животом, и под простежкой рубахой, под распашным воротом, съехавшим набок, показался крутой лемех ключицы, кожаное оплечье вериг и обвершье медного осьмиконечного креста, словно бы навсегда впаившегося в подвздошье; монах искал в лице гостя подвоха, страсти для себя и всполошливо нашаривал верных слов, чтобы не угодить впросак. Ведь не у тещи в гостях, а за приставом в тюрьме; тут каждый угол имеет верного соглядатая, и нынче же Наумову станут известны тайные их речи... Ах ты, Боже мой, угодил в историю как кур в ошип. И вдруг как змей-медянкою ужалило: а что ежели скинуться на Русь, вспомнить прежнюю волю и власть, собрать ватагу и двинуть на Москву?! Трепещите, блохи подпазушные! Ай да и мыши, как вы смелы по сусекам, когда кот спит...

Никон засмеялся, грузно опустился на лавку, приспратал в ладонях лицо. Сказал, прокашлявшись и октив рот:

– Сватушка, ночуй. Вот твоя шапка и рукавицы...

– Значит, гонишь?

– А как не гнать-то? Явился незванный, бежал неузнанный... Я своему государю не враг, чтобы злодея покрывать. Что ты, Голубовский, как мышь в подполье, скребешься да точишь, выгрызаешь углы? Сквозняки в Дому-то, и сколько неведомого гнуса налезет в дырью. Живи тихо, прошу тебя, замаливай грехи, да благодари Господа, что жив пока...

– А может, я жить не хочу в грязи и неволе? Может, я хочу давить боярскую платяную вошь, что села на плечи. Может, я не хочу из-под жирных свиней лайно выгребать. Чем они лучше меня? Своей родовой кичатся. А я и сам царского звания или ты этого не помнишь?!

– Тихо ты, тихо... Сколько от тебя грому да гряку, орешь, как в диком лесу, – остерег Никон и больше не дал гостю непрошеному рта открыть. – Двести разбойников к нам приволок, по ком давно топор сучает. Ты их в церкву, на покаяние, пока не поздно, слышь? А ты с има, бродяга, лукавец и притворщик, враг рода человеческого. Какую злую дань платишь сатане своему, нечестивец? Ну как не поверить тут, что причащал паству детским сердчишком? Как Ирод-царь, сбиваешь под себя заместо тронной стулки гору человеческих голов... Ах, проказник, ну, шиш болотный! Как только тебя земля носит! Да провалиться тебе в тартары, да не избыть огненных бань; уж готовы гулять по твоим бачинам пламенные веники. Преизрядно заготовили вичья подземные сатанины слуги в злокозненных своих лесах...

Ишь, он ко мне двести разбойников приволок. Вор, он и меня в воровское дело поманывает. Кто я тебе? патриарх иль собачья щень, чтобы испытывать меня посреди чужой беды?

Голубовский пытался что-то ответить в оправдание себе, но опальный старец, севши на своего сутырливого конька, давай его погонять по словесным лугам. Тридцать лет не видались, пора бы чернцу на лавку осесть гузном, ан нет, у Никона сердечного жара еще не на один вселенский костер сыщется...

Ах, кабы сманить его в понизовья да повенчать с Разей, уж какой бы славный союз получился с казаком, и тогда вся-то Русь качнется от края до края; и все поместья можно пошерстить, вотчины поपालить, боярские головы насадить на пики, дворянские животы развесить по березовым рощам на радость воронью, а всех приказных, нагрузив полный дощаник, спустить вниз по Волге на корм рыбам.

... Обидное толковал Никон, но гордец Голубовский, что Иуду с Христом славил по украинам России, сейчас упорно стерег натуру, укладывал свою спесь в потайные скрины до поры до времени. Гость содрал еломку и сронил повинную голову к столетие, и плешка на маковице, где волос изрядно проредился, уже сморщенная, походила на засидевшееся яблоко.

– Ой, злодей, скверны кусок, окаянная ты требушина, – точил Никон без прежнего запалу. Устал, сомлел телом, скрипел ломким сухим голосом уже без прежней строгости, но как бы заискивая перед ночным гостем. Да и то: нагнал страху, ввел отчаюгу в раздумья, а сейчас истиха надо и спуску дать, прижалеть сутырщика, чтобы не озлобился он, но вошел в раздумья.

На воле ночь жила глухая, свинцовая; уже и свечи в столицах дотаивали; залиvisto, пристанывая и хрюкая, храпел Флавиан; на окнах медленно проступали светлые пролысины.

– Очнись, пока не поздно спастись. Знаю, что плут ты и ловыга, но у Христа и на тебя жалости сыщется, коли повинисься. Ишь, что надумал, грешник! В своем ты уме? На царя вызнялся, как мыша на слона, да и монахов зорить взялся, несчастный. Тебе ли не знать, Голубовский, что у них, молитвенников, каждая горбушка с ногтя, они сна не знают, молятся за вас, и всякий грош в казне дарен во спасение души. Опомнись! Ты же на милостыньку покусились, на Божью копейку, и тяжче того греха нету.

– Ладно, будет тебе учить-то. К слову вылетело, а тебе примстилось...

– Я глухой, ничего не слышу. Уши серой заклало. Тебя не видел, тебя не знаю. Зашел кто-то непрошенный, убрел неузнанный. Посидели, по чаре приняли, а с пьяного чего возьмешь? – укладывал Никон шаткие мостки через пропасть, чтобы дать Голубовскому отступного. Да тот и сам понял, что зря рвался в Ферапонтово, трепал обувку. Ничего со старцем не сладить. Но еще пытался забросить уду:

– Сгниешь ведь тут, Никон. Ты для Двора бельмо. Они говорят, лучше без глаза жить, чем с тобою. Засохнешь один в гордыне, как чирьяк, по мясинке нуда выпьет. Иль ждешь нового собора? так митрополит Иконийский Афанасий, что обещивал случай тебе, первейший плут и ловыга.

– Тебе-то откуда знать?

– А мне все ведомо, у меня везде уши понасажены. И здесь тебя стерегут... Опомнись, святейший! Какой тебе случай выпал на тарелочке. Сам народ тебя на плечах принесет к государю, да и усадит возле на стулку. Станете, как прежде, друзьями. Усадит и скажет: де, правь нами... А так-то и проклясть может, будешь в веках проклятушим. Затеял новое дело, наковырял враскорячку, напахал овражцев, люд православный замутил, да и смылся в глухой угол... Ждут тебя, миленький патриарх, вот те крест. На всех росстанях глаза проглядели: едешь, нет? Ждут и плачутся. Вопиет народ: яви-ся!..

– Лучше проклятушим буду в сей временной жизни, чем изгнанным из Вечной. Царь-то наместник Божий, его предать – значит, самого Спасителя вогнать в печаль. Что и заедаемся с Михайловичем, так меж собою. Третий лишний, не лезь. Загрызу...

Никон помрачнел. Его утомила бестолковщина долгой беседы. Будто глухой со слепым толкуют, и даже искренние нарочитые уведомления сеются, как пелева.

– Твое последнее слово?

Голубовский поднялся из-за стола, кинжал воткнул за опояску. Никон опередил гостя, встал у двери, загородил проем; встрепанная голова упиралась в притолоку, взгляд не сулил ничего доброго. Да и Голубовского палицей не утратить. Правда, шум будет, сбегутся

стрельцы, свалкой кончится, а бродной дорогой в такой голке, пожалуй, не убежишь. Он воровато осмотрелся: в слюдяное оконце не выкинуться, застрянешь. С лавки приподнялся Флавиан и вовсе закрыл отступные пути. Экий отелепыщ, его бы только на затин брать острогою, как моржа.

– Чего встал на пути? А ну, осади, – рыкнул Голубовский, бледнея от гнева. – Перепояшу, мало не станет. Мне сам Господь в поровенках, ты свет застишь, неразумник.

Рука, сжимавшая вересовую ключку, задрожала, готовая вскинуться. И все разумение, с каким во всю ночь подступался гость к Никону, разом куда-то пропало.

– Без клятвы не спущу, как хошь. Вижу, страстный ты человек, Голубовский, и хоть в монастыре пребываешь, а ни на ноготь смирения. Силком все норовишь, да через колено, – смягчив голос, увещевал Никон, и сумеречные глаза его вдруг затенились слезою. – Ты воровскими прелестями хочешь завлечь меня к себе, да и погубить... Откажись от дурной затеи, братец, уйди с миром из этих мест, не навлекай на себя Божьего гнева. Отступишь от монастыря. Я ведь тебя пока добром прошу.

Никон увещевал с той кротостью, что обезоруживает и самого охального, всполошливого человека.

– Эй, долго вы там? – позвали с улицы. – Голубовский, время пришло.

Голубовский вздрогнул, смутился, снова смерил взглядом старца. За спиной сопел Флавиан, не встревал, ждал случая... Ой-ой, хочется смутителю и калачик съесть, и на бархатный стульчик сесть; вот так бы ловко миновать ему оказию, чтобы и не ожгло пупенце, и не промочило коленце.

– Ну что мнешься, братец? Тебе меня не обойти. Будь хоть ты самим Самсоном с ослиной челюстью, а не сокрушить, – без похвальбы, но для пушего остерега подсказал Никон, почувывая в душе Голубовского смуту. Никак не мог он припечатать Отца отцев не токмо ослиной челюстью иль шерстнатым кулаком, но и самым малым перстом. Ведь уговаривать шел не затворника, не тварь земную, но явленный образ Христов; хотел отвести его на Волгу, как знамя, как хоругвь, и уронить ее нынче на землю, стоптать под ноги не только зазорно, но боязно и жутко; невольно сокрушаются все твои мечтания, и уподобляешься ты последнему шишу и подорожнику, давно потерявшему всякую честь...

– Не томися, Голубовский, коли ко мне с любовью шел. Отбрось все пустошное, отдай клятву, да и ступай на Москву к государю, отнеси ему вины.

Голубовский еще помялся, уже с ненавистью и презрением обшаривая старца из-под супистых бровей; катал крутые желваки, с трудом сдерживал ярость.

– Богом клянусь, и честным словом, и своей головою, и государским именем... Не стану ворошить ваши змеиные гнезда, сами пожрете друг друга в пустошных мечтаниях о рае, но угодите, правое дело, прямиком во ад ко мне в гости. Я уж там вас побаню! А пока обнадейся, мое слово кремень. – Гость вскинул ключку с острой пикою на конце. – Я к тебе, старик, шел с добрыми намерениями, в целях тебя спасти и Русь встряхнуть. Думал, ты при уме. А ты вовсе без ума, оброс мохом. Сидишь на лавке сиднем, крутишь головою во все концы света, лоя сплетен, ворчишь, как ощипанный куропись, спрятал в навозную кучу гузно свое мерзкое и думаешь, де, ты святейший... А про тебя уж все забыли давно, и никому ты не гош, выступка. Выступаешь, задравши голову в поднебесье, на тебе... А ты тьфу! вздорный, пустой человек.

Голубовский кипел, но взгляд прятал, бодуче склонив голову. Никон уступил ему путь, но гость странно медлил, словно сочинял особой пакости, но вот ничего путнего, чем бы большее ужалить старца, не шло на ум. Никон откровенно скалился и зябко потирал ладонями плечи. Обычно мгlistые, щуркие глаза сейчас обмелились, были почти слепыми.

... Как славно бы стало, ежли бы Никон зашерстился, дал отбою; тогда можно бы кулаки почесать на бою, выместить обиду.

Но великий старец затворил уста. И Голубовский хлопнул дверью, дивясь трусости Никона и спосылывая на его голову страшные проклятия.

Было по осени, наобещивал Раде выгод от верной затеи, похваляясь дружбою с Никоном, и порукою в том деле положил свою голову, мечтая в гили перенять на себя царскую корону; да вот все рухнуло одним часом от скверного, заносчивого сердца Никона. И сам, злодей, не захотел снова воспарить над Русью, и, того не ведая, крыла Голубовскому отсадил.

... Будь же ты проклят, волдемановский смерд.

Глава шестая

Всякое войско зорят и квасят не столько крепости и невзгоды под ними, сколько бездельное сидение.

Это пустошное прозябание на бобах, исжитие дней без толку и смыслу, играние в зернь и в карты, тавлеи и шахмат, ночное сидение за полуштофом, пьяные бродни по Сумскому острожку, перетекающие в скорые кровавые стычки, брань и обиды, гам и глум, бражничанье без повода в бане, иль под карбасом, иль за поленницей дров, иль на задах кабака, а отсюда и глухое постоянное раздражение, сожигающее душу, – скоро рассыплют и самую дружную рать. Если задумаешь уронить человека во грех, – попусти его в лень и сон, и тогда натура, до того выносливая, отзывчивая и сердобольная, рассыплется, аки дорожный прах в горсти...

Да еще эта долгая военная несрядица, шатание в умах, когда сам Двор не знает глубоко и верно, чего хочет он, – невольно передаются до нижних чинов в покорливое доселе солдатское сердце и наводят в нем уныние и тоску, злобность и бессмысленную дерзость в поступках...

Вот двое ратных начальных съехали к Москве, и на их место заступил стольник и воевода Иван Алексеевич Мещеринов; но и у того дело поначалу не заладилось и, просидев с месяц на Заяцком острове и найдя бессмысленным напрасное ожидание под монастырем, сошел обратно с отрядом в Сумской острожек, ввиду худой осени, и напрасной проеди, и безденежья. Убоясь царского гнева, что ослушался Михайловича и по примеру прежних воевод снял осаду без долгих боев, Мещеринов торопливо отослал в столицу слезную отписку, чтобы оправдаться: де, стрельцов мало, да и из тех, что есть, сорок восемь дряхлых, старых и больных, к крепостным приступам не готовы, пешего строю не знают, и о военном наряде не слыхивали, и, де, с одной малой пушчонкой против воров ему не стояти; де, «пушкарей, государь, и пушек больших проломных, и гранатных, и ручных гранат, и зажигательных колец, и стрел со мною не прислано. А если бы были они, я бы чаял милости Божии над ними поиск учинить, зажечь на башнях и на городу кровли, и от тех кровель у них загорелись бы хлебные амбары.

А в башнях у них каменных сводов нет, а сделаны мосты деревянные, и как бы кровли зажечь, и у них все пушки обвалились бы на землю. А подочвенного бою у них в башнях и городской стене нет, да и сделать нельзя, потому что башни и город кладены толсто из дикого большого камня. А на городской стене по кровле положены камни большие, и как бы кровли зажечь, те бы камни все пригорели. А бью я ныне из полковых малых пушек, которые я взял из Сумского острогу. А без пожогу и без пушечной стрельбы никакого промыслу не учинить. А они, воры, пожогу крепко боятся и на хлебных амбарах, и на кельях кровли поливают, растворя известь. А который порох принял я от головы Иевлева восемьдесят восемь пуд и от того пороху, как бились с соловецкими ворами, осталось пудов пятнадцать.

А на Двине у города Архангельского есть пушка – ядро весом полпуда, да в Крестном монастыре есть пушки большие, и я, холоп твой, о присылке пушек и пороху на Двину к думному дворянину и воеводе к Федору Полиектовичу Нарышкину и к дьяку Офанасью Зыкову о пушках писал...».

С тем челобитьем съехал в Москву царев стремянный Любим Ванюков, что был приписан к воеводе для государевых посылок. И вроде бы нужный Алексею Михайловичу человек, тертый в службах, навычный к охоте, не из ерестливых и проказливых, но царь как бы позабыл его насовсем, да из приказа Тайных дел тоже вроде бы выкинули напрочь. То повешенного на Мезени юрода Феодора легла тень вины.

Под весну, в начале марта, так и не повидавав государя, Любим воротился в Сумской острожек. С ним же, по слезной просьбе воеводы Мещеринова, для отправления редкой службы прибыли гранатчики Бориско Савельев и Кимко Назарьев, что учились огнестрельному делу у иноземных мастеров. С ними же в трех возах, наглухо крытых парусиновыми покрывками,

чтобы сберечь от непогоды запас к двум гранатовым пушкам, привезли кладью: запалов четыреста на гранаты, да селитры литрованной с пуд тридцать, да серы горючей с пуд десять, да воску четыре пуд, да льна на фитили с пуд двадцать, да смолы и дехтю, да два котла медяных, каждый ведр в шесть, в чем смолу топить и селитру перелитровывать; да укладены были в саях иготь медная с толкушкой, в чем составы в зажигательные ядра толочь, да четыреста аршин полотна, вина доброго бочка, камфары тридцать гривенок, бумаги александрийской стопа, да стопа же картузной бумаги, масла льняного четыре ведра и ртути живой сорок гривенок; были же там пыжи и веревки, крашенина и сита, терки, чем составы стирать, и кольца железные к ядрам, да к деревянным пушкам железные приборные гвозди, и скобы, и крюки тож, да нитки, чем к зажигательным ядрам мешки шить, и нефти белой с пуд...

И не дожидаясь тепла, стали гранатчики в стороне от острожка рыть плавильные ямы, да в особой полотняной палатке чинить зажигательные ядра и гранаты пудовые и в два пуд; и над Зарецкой стороной, над Жемчужным рядом, и над съезжей избою, и над Труновой слободкой в верхнем конце Сум, где обитали бедные бобыли, казачки, захребетники и детеныши, меж прикрутых каменистых берегов, сейчас обвалованных лежалыми плотными снегами, заслоился с утра до вечера кисловатый, терпкий нездешний дух, где прежде всегда свежо и пряно пахло морем, водорослями и квашеной рыбой; и от этого нового гиблого сиреневого туманца, настроенного на сере и ртути, порохе и терпентине, дегте и смоле, сладило на языке и першило в гортани. Это было, скорее всего, утробное дыхание войны и скорой смерти, еще не бродящей меж дворов, но исподволь наплывающей из сатанинских пещериц, из мрачного чрева преисподней; в чанах с серою и будут вариться грешники в аду, и для богомольных староверцев эта воня напоминала о скором конце света и приходе антихриста. Так же блудливо пахнул майор рейтарского строя жиловатый немчин Келен, когда затягивал фарфуровую трубочку, набитую табакой, и дул с презрением в сторону православного собора.

... Нет, что ни скажи, но знатливый воевода прибыл на пересменку Клементию Иевлеву для покорения Соловков; польский и малороссийский походы в помощь гетману Хмельницкому дали доброй науки стольнику Мещеринову. Не замедля, еще зимним путем приволокли из Холмогор огневой наряд, да из Крестного монастыря с Кий-острова пушку в тринадцать пядей длиною и две пушки в одиннадцать пядей с ядрами, да четыре пушки средней статьи. Да в острожке услугами мастеров были отлиты четыре медных пищали, да две гранатных пушки и к ним триста гранатов, да шестьдесят стволов для зажигательных ядер. Вот и стало, чем вора брать за шкуру, чтобы не ерестился и совесть помнил...

* * *

Любим Ванюков остановился постоем в избе старого сумского стрелца Тараски Кутника. Двужирное житье в шесть косячатых оконцев по переду, затянутых шитой слюдою, пригнулось с краю посада в Зарецкой стороне по Нагорью. Весна уже катила на перекладных, с летней стороны дома из желобов свисли каленые хрустальные сосули со слезою, а в верхней горенке, где хозяиновал царский стремянный, в порошках окон к вечеру копилась вода и, медленно стекая по пеньковому прядену, звучно капала в глухой ночи в глиняные мисы, расставленные хозяйкой по передней лавице. Всё напоминало о близкой весне, но, несмотря на потоку с крыш, на морской волглый ветер, на густую просинь по стрежи реки, еще уставленной снегами, на оттайки у крыльца, – без нагольной шубы иль бараньего тулупа к взморью еще не хаживано: ознобит до хребтины.

Вот и сейчас, накинув на плечи овчину, скучая от безделицы, Любим вышел на взвоз и там мрело остоялся в предвечернюю пору, тупо глаза на околицу посада, на Кислую губу, еще заторошенную, уставленную искристыми льдами, на изобки слободы, утонувшей в снегах, на синюю стену, вставшую в небо в морской голомени; оттуда сулило погодушкой. На при-

пае, вылезши из продухов, там-сям лежали любопытные нерпы: зорко и в то же время наивно, по-детски выглядывали в Сумском острожке неведомо что, не боясь охотничьей пульки. Вот так же, дуриком, и угодят однажды под пицаль зверобоя, под острое лезо ножа, на бахильи переда...

Море – наше поле, не раз говаривал отец; не пашем, де, не сеем, но Господь нам дает пропитаньица, не велит пропадать с голода. Господь-то и поваживает, да и сам, сердешный, не будь плох; тяжела, сутырлива морская соха, и в бороздах той немеряной пашенки не мало улеглось мужицких голов. Вот и Созонта с сыном однажды обдало смертью; душный, мерзкий тот дух, от него коченеет всякая телесная жилка. Было то на зверном промысле: на Кедах под Каниным побежали в море за зверем с одними шишигами – черемуховыми батогамы. Но в кошулях за спиною, однако, смертное бельишко прибрано, да харча дён на пять. Сыскали отчаюги тюленью залежку, да и в азарте-то увлеклись охотой и не услышали отдорного ветра с горы, когда оторвало льдину от припая и потащило в голомень. Очнулись, а уж ох те мне, запевай отходную: Господи, помилуй мя, грешнаго. А Любимке о ту пору стукнуло тринадцать годков. Десять дней носило по морю Студеному, да хорошо – Спаситель понорович, услышал молитвы домашних; прижало льдину под терский берег, а то бы и отдать Богу душу...

Не на Пасху ли то и было? Кажись, день в день. Сумской острожек однажды показался в виду, колокольным боем доносило, людишки праздновали с куличом да пасхою, крашенные яйца катали, вот и до отчаюг приплыл с матерого берега запах печива и горелого вина. Возопить бы, чтобы до сердешного православного уха донеслась слезная весть, а там бы и очнулись хмельные мужики, столкнули в море карбасенку, да на той-то посудине лихим головам долго ли подать гибнущим руку помощи? Но где там... С берега и пристрастным взглядом не разглядишь, что творится в безмолвном коченеющем море, одетом в пестрые сизо-белые саваны; где-то в глубине окияна на крохотной льдине прояснивает какая-то черновина; то ли тюлень-лысун разлегся, отбившись от стада? иль гнилую посудину волочит по воде? Кабы зрительную трубку о ту пору...

И Любим с отчетливостью ясновидца вдруг представил тот пасхальный полдень, темное марево в горловине моря, куда притягивало льдину, отца Созонта, закутанного по плечи в тюленью шкуру, снятую со зверя, и строгающего мерзлое, вонючее, дурно пахнущее рыбою мясо. Это для свычных, крепких сердцем еда. «Ешь, жори сытнее, парень. Навостри сердце и жори, коли хочешь жить. – Отец сует сыну с ножа тонкий пласт мясины, неволит Любимку к жизни. – Я – Медвежья Смерть, а ты – сын мой, аль забыл?»

Государев стремянный выглядывается в море ли, в потемки ли полузабытых лет, и там, в дегтярной ночи, вдруг сблескивает лодейный фонарь и прояснивает, выбирая по крохам, занятые житейские мелочи. И отец-то, оказывается, жив и здоровым сиреневым глазом зорко приглядывает за сыном; и нет его на свете давно, поди кости погнили и сок телесный весь вытек, но вот он, батько, возле, страж и спопутчик каждоденный, кровный связник, и наставник, и судейский крючок. Ах, татушка, татушка: один я при кручине, как дуб во поле. Медвежья Смерть, я малой мышью убоился, от счастья своего отвернулся. Живу, как сухая лучинка, отростка не дать; не обсеменился и не осемьянился...

Тут ветер-побережник туго потянул от немчин, и льды на море зашевелились, поднялись на дыбки, полезли друг на друга, как стадо зверья на лежке; тягучий стон поплыл на гору; треск и грохот осыпающихся торосьев отвлек Любима от зряшных испепеляющих мыслей. Встряхнулся стремянный и уже по-новому, в ожидании боевого дела, чувствуя нетерпеж, всмотрелся вдаль, как бы очнулся от сна. Зорким надо быть в море и догадливым, чуют движение воды и поворот земли; слепому да ленивому, что распустихою живет, в окияне не место; слепому лучше на печи лежать да пробавляться, чем Бог пособит; близорук будешь, так и на ровном месте нос расквасишь.

Царь-то батюшка торопит нас: де, шевелись, ребятки, как кот у сметаны, не ровен час – отымут; распустя рукава, о свою соплю запнешься да лоб расшибешь; с ленцою-то далеко не уедешь. И будет прав... Но и безумно спешат лишь к смерти; торопливого и пустым мешком прибьет, иль вот ледыхою по темечку. Висит сосуля с крыши и кого-то ждет? Скоро, уже неделями отворится путь, а тогда подымай парус и лови удачу. Не долго стать вору праздновать да кичиться дурью своею. Страшон медведь, да и вилы остры. Царь – наместник Бога на земле, он помазан на царствие, и нам ли, тварям малым, на него подыматься? Ишь ли, что расчурали, неясны? сидя на кочке, под своим носом греха не видят, а наострились во злобе неведомой весь белый свет наново перекраивать...

Любим вдруг с ненавистью, доселе не знаемой, подумал о закрывшихся в монастыре старцах, кто из гордыни своей столько мешкотни доставил людям. Боярину-то, правда, сие не в печаль, его вода не подтапливает, и пожар не припекает под бока; заперся в терему, как мышь у сухаря; им бы лишь свару разжигать и бестолочь по дворцовым прихожим, ища себе выгод. Но стрельцам-то и низким служивым каково жить на пустом месте, во чужом углу без прислона, без семьи, не чая и свидеться с родными, когда каждая сухая горбушка и звеньшко трески в горле колом. Кто живал на два дома, тот поймет горечь ратника, застрявшего без нужды в походе... Второй уж год жалованье тащится из Стрелецкого приказа, да никак не доедет до служивого котла. Из ума чада малые не выпадают; всё о них думы. При живом тятке сироты; поди шатаются с мамкой меж дворов с нищенской сумою за Христовой милостынькой.

... Да ничего, даст Бог нынче край пустому сиденью; и неуж три года хлеба зря проедали? И воры-то знали, где сгуртоваться и на царя ус раздуть. Попробуй, возьми их голоручьем, когда острова Соловецкие запирает на восемь месяцев, и запоры те надежнее самых хитроумных замков. Ни входу нет в монастырь, ни выходу. Сначала по осеням мутят бури такие, взводень в самое небо, что самый смелый и лихой, кому жизнь полушка, туда и сунется; иль зачурованный, заведомая блажная головушка, кого и на том свете черти голыми руками не ухватят... С октября уже припаи ледяные верст на пять от берега и больше, ветры отрывают торосья и носят из стороны в сторону по водам, и ростом те несяки выше самой большой избы; напорешься – изотрут карбасенко в щепу и – поминай как звали...

Тут с горы в заулочок со стороны посада вошел монах в чернецком зипуне и бараньем треухе, подметая рясою снега; простецкого вида гость, каравый, курице негде клюнуть, но с веселой умною искрою в косеньких глазах. Увидел стремянного на взвозе, трижды отбил земной поклон, пропел, гнусая: «Господи Иисусе Христе Боже наш, помилуй нас».

– Подымайся, монах, на кислые шти, – позвал Любим Васку Татарина, что еще при воеводе Клементин Иевлеве, сам третей, сбег из монастыря и осел в Сумском остроге в келье у соборного старца Иоилы. Принес вины государю, признался в своих блужданиях в вере и был прощен и сейчас пономарил в здешней церкви, ожидая благополучия на Соловках.

Постояли на взвозе, облокотившись на прясла, всматриваясь в темно-синюю мглу, вставшую над морем.

– К ночи от варягов снег повалит, – сказал Любим, думая о своем.

– Повалит, – эхом откликнулся чернец.

– Молишься за монастырь-от?

– Молюся.

– Значит, не позабыл еще молитву. Как живет монаху в миру? Не загрызают соблазны?

Душу-то, поди, печет, коли старцев своих предал и убег.

– Дал Бог жизни, даст и пропитаньица, – уклончиво ответил монах и нехорошо осклабился. Сивая борода встала торчком. – У Господа не без крох, птице небесной есть где клюнуть.

– Слушал ли тебя воевода?

– Взял сказку, – вдруг оживился Татаринов и уж в который раз стал рассказывать свою затею, как монастырь можно взять без потрат, да вот не захотел того Клементий Иевлев из гордого лишь ума.

– А тебе отвечу, дружок. Как на духу. Хоть и смейся после... Я труса не праздновал, но вора не потатчик. Взлезли в город, умаля доброе наше сердце слезными просьбами, как лиса к зайцу, напросились лишь за порог, переночевать чтоб, да ишь ли, обнаглели жестокосердые и хозяев вон погнали опосля... Я к новой вере, братец, не бегал взапуски, как дворцовые шуты и шутихи, но и от миленького царя не уклонялся. Царь – державы нашей ключ и замок, да кто же предатель сей, помысли, стремянный? Да молод ты, незрел умом.

– Ну ладно, охолонь. Не наскакивай, Васка, середь дороги. Ты гость мне, а я гостей не шпыняю со взвоза вниз головой.

– Знаю, знаю, добрый ты мужик. И ума тебе не занимать. Ишь, как высоко взнялся пред царя... Да тебя на тот час не было, как воевода-то прежний Иевлев все дворы вокруг монастыря пожег, и лес посек, и вора мятежным большую свободу учинил. Теперь и к монастырю-то без опаски не подойти, и шанцов копать нельзя, потому что стало вокруг города всё голо, как на ладони. Да и земли мягкой много нет, всё камень нагольный. Где лопатой ни сунься, одни искры летят. Клементию-то я сказывал, как прибег сюда, де, не лезь на воров, как медведь на рогатину, а скинься простодырой, себе на уме, да и выведай слабину, где как в игольное ушко взлезть, а там и шильца кольнуть хватит, чтобы достать до сердца. Иль не так? – И монах снова нехорошо ослабил, и сизые прячущиеся глаза обтянула поволока. – Есть, говорю ему, на местности немного мягкой земли, где репища монастырские были у Никольских ворот. Я восемь лет в монастыре, все знаю. ... И от тех огородов до Никольских ворот можно под монастырь промысел чинить; копай от погреба, что в огороде репном, до калитки, вот и весь сказ. А там дверца деревянная заперта лишь щеколдою. Доброго пинка хватит. И с той же стороны на каменной стене наделаны зубцы кирпичные; стоит те зубцы из пушек сбить, лишить воров укрытия, и так же промысел чинить с большей опаскою для бунтовщиков.

– Тебе бы в воеводах быть, а ты пасешься подметкой у рваного сапога, – польстил Любим, только чтобы скорее прикончить разговор.

– Не смотри, что я видом лядащий, зато умом востер, – похвалился Васка. – Табаку-то пиешь, нет? А то бы посулился щепоткой в отдачу, на один чих.

– Так ты ко мне шел гоститься иль блуда ради?

– Вечер-то надо скоротать. Может, в тавлеи перекинемся? Иль в шахмат? Я до этой игры большой любитель буду. Бывало, со старцем Вассианом запремся в келье, так чуть не раздеремся. Такой азарт обуяет.

Стремянный не успел отказать: у кружечного двора шумно взбулгачили стрельцы. Карманы – решето, последняя полушка просеялась на прилавок кабацкого целовальника, и вот крайнее-то вино – самое сердитое; оно ударяет по обыкновению в самый злобный угол сердца и там затевает смуту. Прижимая саблю к боку, пробежал угором холмогорский сотник Ефим Бражников. Он скоро зычным голосом, а где и кулаком унял свою команду, но и сам заглянул в кружало опрокинуть крюк. Тоже огорая хороший, дармового не пропустит, мимо плеча не плеснет, а все на каменицу в самый жар. Пока с отрядом попадал из Холмогор до Сум поморским берегом, много слез доставил тамошним деревенским, требуя то скорого провозу, то мзды, то вина без пошлины, то бабьей любви без посул.

Небо уже призамглило снежной наволочью, и поначалу нехотя, а после ровной стеною пошел плотный, но какой-то бесшумный, ленивый снег. Из него с сугробами на плечах и шапке, словно облепленный хлопковой бумагой, вынырнул сотник; он подымался по обледенелому взвозу согнувшись, как кочедык, оскальзываясь юфтевыми сапожонками. Дрожать – дрожи, но хвост держи пистолетом. Выбился в служивые из отцовой скобяной лавки и, давая присягу на верность Богу и государю, для крепости клятвенного слова держал в левом ухе раскаленный

уголь – и с той поры малость приоглох. Мороз не красил сотника, его лицо всегда было мучнисто-белым, рыхлым, с частым сеевом рыжих веснушек, глаза лупастые и дерзкие. Бражников попадал в гости не пустой, нес штоф горелого вина, ухватившись за зеленую иноземную склянницу двумя руками.

– Дрожди продаете иль тараканов морозите?! – прохрипел сотник, о колено выбил треух, волос на голове жил густой, в баранью смушку. – Хозяин, встречай гостей со всех волостей! Приглашай в избу, будем вино пить да государя славить.

Любим смерил незваного взглядом, брякнул кованым кольцом, распахнул поветную дверь. Гость вдруг показался нужным; вроде бы и хмельной и задиристый, но как бы с одной половицы, одного поля ягода, с ним можно и вечер скоротать.

Монах в избе наискал божницу и сразу стал истово кланяться; по стенам горенки, над дверью и над окнами была написана на бумаге молитва: «Христос с нами устависе вчера и днесь, той же и во веки». И перед всяким поучением Васка Татаринцов бил поклоны. В переднем простенке меж слюдяных оконцев висела печатная парсуна, в свое время привезенная Тараской Кутником из престольной с Фроловского моста. На картине: Диоген с бочкой и Александр Македонский перед ним в шлеме выслушивает назидания филозопа. Монах плюнул на парсуну и отвернулся.

– Чего плюешься, скотина? – строго окрикнул сотник. – Не тебе, бат, чета, червь навозный. Пред тобою царского звания человек, весь мир на колени поставил...

Но монах не сробел и вторично плюнул.

– И не человек он вовсе, а сын сатаны. Возомнил о себе, язычник, де, я Бог, и надсадился. Килу нажил. Да и помер, волхователь, от комариного укуса. И сколько же кровушки невинной пролил себе в усладу. И сейчас по делу мается в адской баенке на раскаленной лавице.

И никто не заметил промашки монаха; был бы царь Александр сыном сатаны, и сейчас бы в теснинах аидовых владычил...

Сотник не стал задираться, тут же отвлекся, пьяно сбросил на лавку дорожный кафтан, пристукнул донцем штофа о столешню. Хозяин будто за дверью поджидал команды почетного гостя, скоро принес ладку печеных сигов, яиц вареных и кислого молока миску. Не чинясь, по кругу выпили из одного оловянного стакашка, макнули рыбы. Любим полез под кровать, достал походный сундучок, писанный цветами и травами; еще отцова скрыня, побывавшая с ним в Сибирском походе, а по смерти хозяина сиротевшая на подволоке. После смерти брата Феодора, Любим, как съехать из дому, безотчетно долго, будто повинуюсь отцову зову, рыскал по всем углам и повалушам и чуланам житья, любопытно разглядывая уже покинутый, вроде бы отживший скарб, не вем для чего хранящийся. Эту-то укладку Любим и взял с собою в поход в память об отце, решив никогда с нею не расставаться.

Стремянный распахнул сундучок со звонами; на обратной стороне крышки была начертана земляными чернилами шахматная доска, а в особом берестяном туеске хранились костяные фигуры.

– В шахмат играть – много ума не надо. А больше хитрости, – назидательно поднял палец сотник и, икнув, ополовинил стакашек. – Тут кто кого подловит.

– Без ума-то и вши не поймать, – посмеялся монах и шепотью ухватил солдата. Королеву же окстил двумя персты, боязливо взялся за коруну. Добавил: – У бабы-то меж лядвий печь огненная, где скоро сгорают все наши добродетели.

– Дурак, да вкуснее того на свете нет. Ой, монах, в сс... портах. Ты и знаешь лишь то, как кобели скачут. Изменщик делу, потатчик кривде, рукодельник греху...

– Ежли будет до меня приступать, сбегу. Как хошь. Хозяин, ты приструни баламута. У него не язык, а навозная лопата.

– Ну, будет вам шелушиться, – оборвал Любим. – Да и ты, Васка, не спи.

Васка Татаринцов долго думал, слюнявил палец. Велико ли поле, разбитое в клетку, а сколько соблазнов имеет оно, сколько страсти и коварства; и все дурноты, что плевелами изнасеяны в душе, вдруг сами собой прорастают наружу и нет с ними сладу. И невинна забава, да черти ею рядят.

– Иль забыл, как ходят?

– Да не забыл, как ходят, да не знаю, чего поддать. Это сотнику ума не надо. Ему лишь бы охалить, да заглупить без Божьего извола, без Христова приговора. И лягушка хотела солнце слопать, раздулась на все стороны света – и лопнула. Только пшик...

– Ну ты, монастырский клещ! Я вашу заразу мечом полоню, огнем выжгу, – зарычал сотник, вылупливая дерзкие таусинные глаза; но гримаса была не столько страшной, сколько смешной.

– Нет, милоч! Без Божьего промысла, да без чистой души и доброго помысла не взять вам города, сколько ни мечите икры. Хоть и худых людей там порато много засело, да, вишь ли, святыми стенами заслонились на то время... Вот расскажу вам правду одну, хоть верьте, хоть нет. Ежли от Кеми плыть на Соловки, то за островом Кильяки, что в Кузовах, есть луда такая, варака, а зовут тот камень Немецким. И откуда такое прозвание взялось в наших местах? Вишь ли, немчи шли на Соловки, чтобы монастырь пограбить, и на остров пристали кашу варить. Варят они кашу, да и похваляются, кто больше денег да добра в чужой казне найщет. Одино нехристь взлез эдак-то на гору, увидел с нее монастырь Соловецкий вдали. А надо сказать, что красота-то несказанная. И пригрозил: завтра, мол, красоты твоей не видать станет, всю по камушку разнесем. Да видно, вражбим было это попущением, Божьим изволением: немец, как сказал слова те свои, так и стал камнем, и товарищи его все до единого в камни оборотились. Так немчи и стали камнями... Вот и ты, сотник, допреж времен не хвалился, едучи на рать. Ишь ли, было в старину: мышшь слону пяту прокусила, слон возьми и помри. Во как...

– Где потеряешь – не чаешь, а где найдешь – не знаешь, – по-стариковски вздохнул Любим. – Что старина, то и деянье. Ну да и ты, Васка, свое дело верно знай.

Сотник из-за плеча монаха вдруг принаклонился и перехватил с доски коня, а сделал скидку на доске, пристукнул фигурою сразу в чужом стане.

– Не трусь, лядащий. По мне, лучше помереть здоровым, чем гнить живым. Дал замаху, так бей, не дожидаясь, – наставлял сотник, шумно дыша, покачиваясь над столом. Рыжее сеево веснушек на одутловатых щеках вроде бы счернело.

– Не лезь мохнатыми руками, – взвыл Васка Татаринцов. – Поди лучше побанься, вонькой, а тогда и лезь в квашню. Ерой сыскался мне. Как бы камнем тебе не оборотиться скоро, хвастун-свистун на киселе.

Монах вернул коня на прежнее место. Любим поглядел на сотника и смолчал, но взгляд его, угрюмый и темный, не сулил ничего хорошего. Ефим Бражников с нелепой улыбкою спехнул сундучок со стола, просыпал шахматы на пол. Любим приподнялся и молча, коротко, без замаха ткнул сотника в грудь. Стрелец шумно, сторстав скатерть со снедью, повалился на спину и омертвело затих. В обочьях налилась нехорошая синь. Любим, наклонившись над столом, наискивал в лице стрельца признаков жизни – и не находил.

– Ишь вот, явился даве живой, а уже мертвяк, и дурно пахнет, – спокойно сказал монах, заново расставляя на крышке сундучка фигуры. – Помрет – не мучается, ляжет во гробех – не страдает. Такожде и немеч похвалялся, завидя монастырь. А и не оклемается байбак, так и не грусти. Всё в Божьей воле.

При этих словах сотник вдруг шумно вздохнул, лицо налилось кровью. Поднялся, сел на лавку в переднем простенке, набычась, долго смотрел исподлобья, как идет игра.

Любим спросил виновато:

– Слышь, Ефим? Сердишься, что ли, али нет?

У сотника лицо мрачнее грозовой тучи, в лупастых глазах то и дело вспыхивают молоньи, словно бы хочет прожечь хозяина до печенок. А Любим вдруг расслаился улыбкою.

– Ну, прости. Знать, больно досталось, коли молчишь. И не лез бы в занозу? Иль забыл, что я – Медвежья Смерть? Со мной не балуй...

– Ужо я тебе рога-то обломаю. Найду время. Еще отломится от меня, – пригрозил сотник; из лядунки, висевшей на широком поясе, где должен был храниться огневой запас, достал щепоть табаку, забил обе ноздри, прочихался.

– Знать, и вправду больно досталось, раз грозишь.

– Дурень, знамо, больно. Против сердца бьешь. Духу-то тяжело.

– Любя ведь, леший. По шеям бы надо, – засмеялся Любим. – Так опять голова отвалится. Сгоряча-то не разберешь, куда бить. Достал ты меня... Тебе бы пить нельзя. Ты пьяный-то дурной, и команда без присмотра. Эх вы, гулеваны, батожьем бы вас почаще потчевать...

– Себя и лупи по шеям, – уже отмякая, бормотал сотник. Неожиданно глаза сутырливого стрельца увлажнились.

– Ну ладно, оставь обиду, Ефим Иванович. Нам ли с тобою загрызаться? Давай поцалуемся, как братовья, и больно хорошо.

И они охотно пошли на мировую: обнялись, поцеловались, приняли по чарке и завели песню.

Не в русской натуре тешить зло.

Это немец, ежели поссорится, так затаит обиду до смертного часа и найдет повода мстить.

Глава седьмая

Пришла беда – отворяй ворота.

Вот и Никон сел на ноги: обезножел. Желвы пошли по голяшкам да шишки корявые по плюснам, как из старой березовой болони, и жилы набухли от натока черной крови. Так близкая старость вдруг выказывает себя, выедаая плоть.

Не то ныне работу какую затеять – камни там ворочать на замежки, вычищая польцо, иль новины распахивать копорюгою, корчуя вагою пни (тут Никон шел за первого работника), иль невод тянуть за бережную ляжку, – но и сдвинуться, с лавки подняться тяжело.

Да еще пристав Степан Наумов, видя, что никаких благ на голову старца не сыплется, никто не заывает в Москву на патриарший престол, вдруг снова взъелся на заточника, припомнив прежние свои льстивые поклоны. И черный поп Палладий, что прежде вился вокруг великого старца ради сладкого куса, скоро перекинулся к полуполковнику и стал первым его наушником. Не зря Никон в ту ночь метался по окнам: у пристава везде уши посажены. Гости как явились внезапно, так и пропали в лесах. Но Палладий-то разнюхал и нашептал Наумову: де, были у Никона воры-подговорщики и, де, собрался затворник тайно бежать из монастыря.

И Наумов, не мешкая, отселил служку чернца Флавиана от Никона, оставил старца одного, но нарядил к его сеням два неотступных караула, и стал бывший патриарх и служкою, и приворотником, и стряпушим: дровец наколоть беремя, иль за водой сбродить к святому роднику с бадейкой, иль житье обрядить, – ныне все сам. Прежде-то бегом бы исполнил любую заботу без келейного работника, а ныне и самое малое делается с натугой и крехтаньем. Встал – ох, и сел – ох. Печь-то топится по-черному, дым гуляет по избобке, выедаает очи, пока-то сплывет к потолку; вот и ползай, Никон, по полу, как росомаха, спасаясь от чада, и дверей на волю не отвори, скоро стрелец приткнет ее бердышом: де, не лезь, монах, в запретное место.

С месяц отсидел Никон в келеице, как в суровом пытошном застенке. Дымом выело озе-ночки, и появились на глазах бельма, и белки сжелтели, как у угарного пьяницы, и левая рука в плече от нытья обломилась; в ночь и ряски с себя не содрать без крика... Терпи, отче, то сам Господь на последних годах истинно возлюбил тебя; ибо кого любит Бог, того и наказует; долго мирволил он тебе, попускал в слабостях, а ныне и черной-то икорки, самой поственной строгой монашеской пищи, не видать на твоём столе; и ежли окуня в чешуе притащит какой монах-добряк, да и то тайком да украдкою; а в каравашке житенном, что принесет подкеларник с поварни, можно и последние зубы оставить: куснешь, а окраек-то весь в кровище.

... Эх, тяжело подниматься по Золотой лестнице, получая тумачи и шишки, но тяжче того падать по ступеням, смертно разбивая не столько проклятущую голову свою, сколько душу, изведавшую в былом мягкого да сладкого.

... А Русь-то не позабыла тебя, и самый черный злодей поминает Никона, верша злодейское намерение. Астраханские казаки не решались сбросить с кремлевской стены митрополита Иосифа в архиерейском облачении, и вот, потрясая пиками, готовые, как Христа, прободить священцу под ребра и пустить с откоса, они вопили духовенству: де, сдирайте с Иосифа сан, как он поступил с патриархом Никоном; де, не мы казним совратителя веры и прельстителя латинян, но сам Господь Бог вершит суд нашими руками; и, славя Никона, подняли несчастного на копья в бесстрашном намерении и свергнули со стены в ров, любя своего Заступленника Иуса Христа и чтя его немеркнувшие уроки.

... Ах ты, Никон, золотая голова, заради матери-церкви поднявший голос на государя! И как скоро была месть? Еще и облачка белесого не проявилось на окоеме, а уж пронзили тебя греческие шапки грозовой молоньей на поучение иным; и нынче скоро испротух ты, как речная рыбина, выкинутая на бережину, изо рта смрадом несет, ибо кровь из десен точит и точит и в день, и в ночь, и вериги, что бывало носил на груди, как лавровый лист, нынче тяжче

жернова и пригнетают долу. Несносима та мука? Так повинися же, святой старче, пади пред Михайловичем ниц, возопи, де, грешен, батюшко! грешен всеми великими земными грехами! и он, Божий помазанник, знать, скоро простит тебя и одарит богатыми мирскими дарами...

Но что-то же держит тебя от покаяния? не гордость ли твоя? иль скудоумие? иль тщеславие сердечное червя малого, возомнившего вдруг о себе, что и он – властелин, ровня царю русийскому?

... Да нет же, христовенькие, не рвался я к славе земной. Не в силе Бог, но в Правде! Ино ради ваших душ, детки мои, страдаю, ради Совести ратился на престоле за каждый библейский аз, чтобы ни в малом не переступить заповеди Спасителя, кои уж давно испроказили неучи и маловеры. Ну, дирывался с ними, было; ну, сосылывал в Сибири; ну, прятал по застенкам не ради злобы, но в смирение и научение; ну, бивал кулаком иль батоном в ризнице иль в алтаре, изгоняя заблудшего из храма. Но для до того и святительский жезл был дан мне. И сам Исус не раз брал бич в руки, чтобы вспомнил проказник незабвенные истины...

Вот так-то от молитвы ино отбрёдя и призадумавшись на припечном конике, каких только мыслей не посетит голову – то горестно-мучительных, то победительных; но ни одно праздное мечтание, что нашептано утробой, не навестит монаха, уже давно отставшего от греховных соблазнов. Пусть сонмища врагов шатаются в подоконьях, бия батоном в стены и вещая: де, Никон – прелюбодей и сын сатаны; пусть живого всунут в скудельницу иль, как падаль, закопают в скотинью яму; но всякий напуск и наговор на меня по времени станут в неправду и клеветы, ибо к серебру и злату не пристанет никакая ржа...

И-эх! стал и я нынче, как великие раскольниче, что затаились по погостам и выставкам, иные ушли в лес, иль затворились в пещерицы, молясь камню-аспиду, иль березовому пню, иль липовой досточке; и меня, одинокого, никто не призовет на вечерницу; прежде-то всюнощную мне, великому терпеливцу, было за благо стояти, так и к этой службе не тянут за бороду, не неволят, как ослушника. Де, пропадай, Никон, в своей проказе, захлебывайся в своем лайне. И оттого, что общей обедни иль утренницы уже давно не правил, чуюл Никон особую свою дикость, так непохожую на прежнее затворничество, что избывал в келье на Анзерском острову. Там чернецкое сиденье было в охотку, в душевную нужу, когда каждая сердечная жилка пела вместе с молитвою и вытягивалась в нитку, ожидая Спасителя ободряющего гласа: де, вижу! де, слышу! де, помню! де, незабвенны станут твои постнические дни...

В подголовашке Никон раскопал крохотное зеркальце, опущенное синим бархатом, без нужды пригляделся: в мутном омутке глянул на монаха сыч ли, леший ли лесовой с набрякшими обочьями, с жижицей желтой накипи в устьицах глаз; седатый волос на голове не чесан и дик, как таежное веретье, обросшее можжевлом; в нечесаной бороде застряли окуневые костки; ишь ли, похлебал ушного, а крохи обрать из шерсти поленился. Ухмыльнулся Никон чудному своему обличью и покачал головою.

И возрадовался самому себе: де, совсем отстал от безумного мира и негодных обычаев; слава тебе, Господи, вразумил, как жить и как повести себя.

И уже с интересом перевел взгляд на себя; на ногах валяные черные калишки, толстые басовики с чужой ноги, завещанные схимонахом Иовом, обвисли полосатые домотканые порты, подаренные сердобольной богомольницей, рубаха из плотной суровины внапуск, без чернецкой опояски. Ой, опростился я, как низко пал, а сладко сердцу; до юрода шагнуть остался один шаг, а тогда откроются небесные истины во всей наготе. До чего добредать надо годами, испивая книжных премудростей и умом вникая в каждый аз, тут как бы сами собою откроются врата вертограда, и оттуда воспоют волшебные накры и омоют Светом дремлющий разум... Ежели я существую и в подобном диком теле, значит, для чего-то нужен Господу на сем свете, раз не прибирает меня к себе?..

Прислушался Никон: на воле дождило с ветром, брякало, стонало и хлопало, будто становщики ставили на карбасе парус. Уже стемнивалось, и нынче опять не ждать гостей. Где-то

Флавиан бродит вдоль стен кельи, высматривая щелку, а к батьке попасть не может. Прямая нужда видеть его, неотложное дело висит на шее, и время не терпит.

... В Петров пост еще прибрел из Воскресенского монастыря черный поп Палладий и принес страшную весть. Ему бы при Дворе крикнуть слово и дело, а он прибежал сюда, чтобы опереться на великого старца; и вот вдруг сладился с казенным человеком, переметнулся к приставу с надеждою похлебать государевых штей; и не ведает того, проказник, что чужая ложка рот дерет, как бы не восплакать после. А может, хитрован, надул в уши басен, чтобы опосля надсмеяться, и сейчас с Наумовым потешаются надо мною?

... Да нет, прежде я знаывал его добрым священцем. Этаких сплетен понарошку не накрутишь, имей хоть дьявольский ум. Срочно надо гнать в Москву Флавиана, верного моего сына, и спасать царя. Только бы подводу дал Наумов, этот схитник, враг рода человеческого. Кругом ловчие сети понасажены, и не знаешь, откуда ждать подкопателя; все они в стоворе, все... И слать надо Флавиана немедля с изустным уведомлением, но с малым извещением под печатью.

Никон встал на четвереньки, из ухоронки в подпечке, где лежали ухват и кочережка, достал оловянную черниленку, песочницу и отделил на ощупь лист английской бумаги с водяными знаками, украдкой привезенной усердными поклонниками. Придирчиво осмотрел на свет, подумал: не столбец и клеить, четвертушки хватит. И со стариковской бережливостью ополовинил лист; часто оглядываясь на дверь, как бы не застали врасплох, скоро написал: «... Извещаю тебе, великому государю, за собою великое ваше слово, а писать тебе нельзя, боюсь изменников твоих: послыша такое твое большое дело, меня изведут, а твое дело погаснет без вести... На Москве изменники твои хотят тебя очаровать или очаровали. Я просил пристава дать подводу, чтобы отпустить с великим делом своего человека, но пристав на другой день отпустил в Москву своего человека вора стрельца Якимка, а меня велел заковать и около кельи поставил семь караулов...»

Последнее присочинил, приписал для жалости: слеза и каменное сердце точит.

Никон спрятал весть в тайную склышечку дорожного посоха, приготовленного на этот случай, и только поставил батога к порогу, как не спросясь явился пристав. Плешеватый, сухорылый, он и шапки не сронил, и лба не окстил, а от дверей зарычал, забрызгал слюной, редкозубый:

– Блин гретый, бунташник, заведомый вор! Мало что воров тайком привечаешь, так и на добрых людей клеплешь, бунты заводишь. К Богу одним боком пристал, а как овод гундишь да жалишь. И чего нейметса, ска-жи-ся, – уже снизил голос, присел на коник. Взял батога у порога, просунул меж колен.

У Никона в груди сжалось от дурного предчувствия. И чтобы подавить страх, заметался по келье:

– Не суди по чужим изветам. Так и Христа распяли по злему наговору...

– Я не Пилат, да и ты, кабыть, не Христос. Хотя и величаешься живым образом Спасителя, а сам ровно пузырь на луже расскочился. А по морде-то взять, дак прямой разбойник. Давно ли в зеркало-то гляделся?

– Ой-ой-ой! И чего молвишь? – жалобно взмолился Никон. – Давно ли патриархом величал? Вот эту руку целовал!

– И величал. Думал, ты в разум вошел. А оказалось, последний порастерял. Досадитель ты, досадитель и проказник, и много тебя государь милует. Ты куда Русь-то шатнул своей спесью? Надел рясу, так и сиди смирно, не ропщи. Я Алексею Михайловичу все отпишу про твои проказы.

– Охолонь, Степан Григорьевич... Смирней меня, вправду сказать, и на всем свете не сыскать. Об меня всякий ноги вытрет. Мне бы давно тебя проклясть, да ведь терплю. Хочешь, и пред тобою расстелюся половым вехтем, Божий ты человек? – зубоскалил Никон, потиху

накаляясь. Он снова заметался по келеице, делая вид, что направляет на стол, не зная, как лучше приветить дорогого гостя. – Кваску ли тебе прокислого, от чего скулы набок воротит, а таз медяный насквозь проест? Иль каравашка загуселого, стогодовалого? Вон зубы-ти у тебя, ровно алмазы. Иль костку окуневую из лонешней ухи, чтобы в горле застряла? Не знаю, чем и уважить тебя, господин.

Наконец застыл монах под образами, скрестил руки на животе; не чернец стоял пред приставом, а разбойный атаман с приволжских круч, или вожатай из бурлацкой ватаги, иль казацкий голова с гуляй-поля.

И оба вдруг замолчали, недоуменно вопрошая сами себя: и чего запылала костром? какая такая муха укусила? Да нет, не овод клюнул в лядвию, а просто сердце к сердцу не прилегало с живым участием.

Но и этой тихой минуты хватило, чтобы опомнились супротивники. И скрипуче спросил Наумов, пристукивая батошкой в пол:

– Ты меня ждал, черноризец? Слышал, что искал меня по нужде. Ежли просишь чего, сразу ответу: не дам.

– И то чуял... Но сызнава кланяюсь: дай подводу до Москвы сыну моему духовному Флавиану.

– И не дам... На худое дело просишь, богомерзкое. Затеиваешь новую неправду на добрых людей и воду мутишь, чтобы карасей иметь. И пеши не спущу, не дам отпускнуго. А коли подловлю по самоволке, закую в чеши и стул на шею надену. Так и знай.

– Ой и злой же ты человек! – всхлипнул вдруг старец, но глаза оставались непроглядно-темными, как аспид-камень. И принялся снова честить полуполковника: – Не гляди волком-то... Не боюся. Вот проклянущу, негодящий, как проклятущего, отдам на съедение бесам. И не сьму анафему и через триста лет, хоть пройди все тартары, как сквозь решето.

– Ты хоть до весны дотяни, – засмеялся пристав, надвинул мурмолку на сухую безволосую голову по самые уши, поднял воротник кафтана. Поставил батожок на прежнее место. – Уймись, старый...

Он взялся за скобу.

– Так допусти хоть к исповеди. Мучается ведь человек, – взмолился Никон, чувствуя себя вовсе несчастным и негодящим.

Пристав не ответил, придавил из сеней дверь. Слышно было, как грозно распекал стрелецкую вахту, грозился губою.

* * *

На раях, только Никон на утреню встал и принялся канон честь, как снова к подоконью прицепился старый седатый ворон и ну долбить клювом колоду. Вторую седмицу наладился злодей молитву рушить и ворожить бывому патриарху худые вести. В этих годах чего хорошего от жизни ждать? Вот и государь-то, несмотря на повинный поклон Никона, так и не ответил прощением и не вызволил заточника из Ферапонтова...

Ворон смахивал образом на боярина Стрешнева, царева родича; тот тоже клепал на патриарха, клевал и рыл под него подкопы, да, ишь вот, сам оказался в яме, угодил несчастный в ссылку за ворожбу да там и помер.

Никон постучал в переплет рамы, ворон взъерошился, лениво слетел на нижний сук усыхающей березы и стал оттуда злобно гарчать. Теперь худым рылом он походил на пристава Наумова. Никон погрозился ему кулаком и засмеялся: и в затворе монашеском есть свои прелести, жизнь природная, как ни городись от нее, вдруг да и поманит к себе самой неожиданной стороною. Никон распахнул створку оконницы, голос ворона стал басовитым, хриплым и напомнил митрополита Питирима, что выдернул стулку у патриарха из-под самых подушек...

Боже милостивый, примстилось мне? иль поминают на Москве худыми словами, вот и икнулось? кого вспоминаю-то-о, переметников, хриstopродавцев вспоминаю, кому тридцать сребреников дороже матери-церкви и России.

Никого и ничего не надобно мне в этом мире, лишь бы молитва не просеивалась сквозь душу, как в худое решето, но ярым воском своим залепливал все нажитые от изврата прорешки и язвы, закрывая ходу дьяволу... Господи Иисусе Христе, помилуй мя, грешнаго! Как распят был ты сердитыми, так и мне дозволяй растянуть измозглое никчемное тело на дубовом кресте...

... О чем возмечтал дурень! Башка поехала? Пыщися, как пузырь на сусле...

Ворон взлетел повыше, на развилку березы. Знать, кто-то шел по монастырскому подворью, огибая монашескую келью. Звякнул бердыш в сених, стрелец впустил Флавиана. «Ах, сатаненок, – подумал Никон о приставе, – и тебя навестила благодать».

– Евтюшка, – сказал стрельцу, – и твой черед настал. И тебя Господь призвал к доброму делу. Погоди пока за дверью, постой тихо, а после я тебе слово свое отдам.

Стрелец послушно остался за порогом, плотно прикрыл дверь. Флавиан был в черном подрянике, туго обтянувшем широкую грудь, и в черной суконной еломке, русые легкие волосы пушились над висками, как облачки цветка-плешивца, светлые, с дремотной поволокою глаза были по-детски восторженны и доверчивы.

– А я скучал по тебе, святейший, – с порога открылся Флавиан, припал под благословение, и все его плотное скуластое лицо залилось брусничным румянцем. Никон принял по обыкновению: от монаха и пахло-то младенцем, только что испившим материнного молока. Обличьем он вдруг напомнил боярина Никиту Зюзина, что коротал свои дни в ссылке на Волге... Эх, православные, вроде и под крестом ходите и видом-то агнцы бываете, но душою будто поганые татарове; какого светлого человека опятнали на стыдобу и позору, а меня вините и по сей день: де, я его предал. А я Божий человек, врать не обучен с малых лет, я всю правду обязан доносить.

Никон положил тяжелую ладонь на плечо монаху и зажалел его вдруг, как кровного сына.

– Ежли нестерпимо станет, милоч, так ты отступися от меня. Это не грех. Ты веру православную не выдай, а я кто?.. Я – сосланный, самый грешный человек на свете, а ты здесь коротаешь дни по своей воле. Хочешь – и нынче же сойди от меня. И пристав тебе не указ. Ты не сугная овца, во хлев не застана с чужой горсти ясти, – мягко увещевал Никон.

Но Флавиан не слышал старца, лишь терся лбом о плечо Никона, напирая лицом на железные вериги, что выступали из-под суровой рубахи, как скотины ребра.

– Батько, ну будет тебе на пустое молоть. Всё ведь не по одному разу говорено.

– А ты не сутырся. Ты слушай да могай на ус... Господь не оставляет верных в беде и нестерпимой нуже. Был у меня сын духовный Иоанне Шушера, забрали его у меня враги по клевете, да и спрятали в Каргополь с моих глаз подале. Полагали: из глаз подальше, из сердца вон... А тут и ты доспел, случился возле дозировать немощного. Вы из одних сосцей вскормлены, милосердые, вы Господом опечатаны... Эх, мало я тебя миловал, но больше того строжил да распекал. Да поздно о том плакаться... А нынче спускаю на Москву с этим батожком, а в нем посылочка тайная. Так донеси ее до государя, не урони. А что самое сокровенное, то я на ухо скажу, и ты не промолвись, хоть и силком неволить станут.

И Никон поведал о беде, что скрадывала великого государя со дня на день.

– Да переметника, черного попа Палладия пусть, не промедля, из Ферапонтово в цепях на Москву волокут. А коли запрется, дак и под пытку. Там-то живо откроется, – советовал Никон. – Иди проселками, стороной от большой дороги; от конных скрадывайся, от татей пуще того бережися, те из-за полушки голову сымут; на кружечные дворы не приворачивай, ласковым да приветливым не доверяйся. И тогда Бог пособит тебе. И деньгами не сори напрасно.

Даю тебе десять рублей ефимками. Рубель до места и рубель обратно, а остальное – на посулы, ежли нужда прижмет.

Флавиан послушно внимал, жамкал в руках еломку, отчего-то бычья шея в тесном вороте подрясника налилась кровью, даже кудреватые волосы на загривке, казалось, забуровели. Может, оборвать хотел старца? де, великий отче, что ты со мною толкуешь, как с малым дитей; но остановить не решался, и от той внутренней дерзости, что распирала грудь, и натужился молодой монах. В нем сила ярилась, он уже мысленно бежал дорогою, как лесной разбойник с кистенем, и попадись ему какой схитник иль враг рода человеческого, то потечет из горсти, как сыворотка.

Но Флавиан молчал, ибо молчание и терпение – золотые друзья чернца и верные его слуги-душеустроители.

А Никон-то, прижавивая служку и боясь расставания с ним, лишь больше распалялся, словно провожал Флавиана на Господние страсти.

– Да к монастырям не прихаживай, нету к ним доверия. Иные старцы без меня совсем пораспустились; лишь видом чернцы, а сердцем суть волци. Чего им помстится, чего диавол в ухо нашепчет? Ино и под ледник спрячут; сиди, де, Бога ради...

Никон открыл дверь в сени, позвал стрельца. Евтюшка у порога содрал шапку с головы, низко поклонился; косенькие глаза от того усердия, с каким внимал он словам святого старца, вдруг выпрямились; одутловатые щеки, сизые от холода, по-бабьи обвисли на воротник. Экий отелепыш, царев слуга; и чего сыскал в государственной службе, каких сытных пашеничных хлебов? Толчись ежедень в карауле, ожидая проказы от заточника иль тычка от пристава; ни семьи тебе, ни детей, ни прислона. А три рубли деньгами годовых, шесть четвертей ржички на прокорм да пуд соли – не особая краса лешачей жизни. И как с нею не очерстветь сердцем? Ан нет, золотыми блестками унизана его душа, ежли ждет сокровенных слов и готова к богоугодному делу...

– Чего позвал тебя, сынок? Знаешь ли ты?..

– Скажешь, дак узнаю, – хриплым, загуслым голосом отозвался Евтюшка и с какой-то тоскою оглянулся на дверь, словно бы завлекли его в келью обманом и сейчас оплетали лукавыми сетями.

– Вот и пришла минута сия. Помоги, сынок...

Евтюшка молчал, глядел в пол; с плохоньких сапожонков натекли грязные лужи; коричневый пониток, стянутый под животом широким поясом, мокро обвис, и шальвары на коленях напыщились пузырями, по темному сукну залысины от дождя. Эх, север ты наш, Божья сторонашка; как занепогодит, так седмицу иль две кряду, и все светлое из груди прочь выдует, оставив там лишь мрак и собачьи чувства: выпить бы крюк водки под ушное, забраться на полати и дать храпака.

Никон даже засомневался на мгновение: того ли человека выискал себе в помощники? дубоват видом, мешковат повадками, пронырлив, неустойчив взглядом. Никон помешкал, пожевал губами, повторил:

– Помоги, сынок...

– Чем подмогчи-то? Служивый я, и надо мною есть властей...

– Не бойся ты. На худое не толкну...

– С чего взял, что боюся? – Евтюшка самолюбиво поджал губы.

– Прости, к слову вплелося... Знаю, что не дудка кабацкая, не свиристелка пустошная, но смелый и важный человек, на доброе поклончивый. Потому я к тебе с просьбою, а ты не откажи, поклонись и мне. Про што дело – то не скажу, да и тебе легче жить. Меньше знаешь, дольше не помрешь. Но верь, братец, батько тебя на погибель не столкнет.

Никон мялся, не зная, как подступиться к сути, вил словесную канитель: и открыться боялся, и нужда окаянная подпирала. Не о себе пекся, не-е... Но и напомнить хотел государю

о друге собинном, что прокисал в юзах... Ах, страсти-страсти, они и в глухом куту не покидают монаха, если он не отступает от мирского, не может покинуть стезю водительства. Что, Никон, разве на тебе одном свет клином сошелся? и себя не жалеешь, и стрельца не щадишь. Ведь за ним нет ни прежней, ни новой славы, нет и высокой заступы, кто бы прикрыл могучей спиною; и если Евтюшку обрадует неволя, то станет она горше собачьей цепи; стрельцу за измену и ноздри рвать мочно, и уши резать, как того захочет начальная голова.

– Вот тебе два рубли... Я малости и прошу, силком не неволю. Отвори нынче в полночь калитку у квасоваренной полатки да выпусти Флавиана... Он человек свободный, здесь живет по своей охоте. Да ишь ли, пристав для острастки через меня и сына моего духовного добре притужает... Возьми, возьми деньги-ти... Это не йюдины сребреники поганые, но Христова милость. Ну, дак как, сговорились?

Никон, будто получив согласие, нашарил ладонь стрельца, горбушкой упрятанную в мокрый рукав сукманины, разжал пальцы, насильно впихнул два венгерских золотых.

Тут на окно с развилки березы слетел старый ворон-каркун и что-то сердито, нагло провещал, вглядываясь в глубину кельи, как нарочный соглядатай, приставленный для досмотра приставом Наумовым. Никон в сердцах схватил со стола оловянную солоницу, запустил в дурную птицу, но угодил в косяк, и соль просыпалась на пол... Ой, не к добру, но к близкой ссоре.

– Зря, батько, напустился, – мягко укорил Флавиан. – К худым вестям. Иль втемяшилось что?

– Чего рыгочешь? Кого учить взялся? – вспыхнул Никон. – Он еще смеяться надо мною.

– И никто не смеется. Не виноват же я, что с такую рожею урожен. Мамка с таткою лепили напоследях, заскребали из ларя остатнюю мучку, да вот и состряпали урода Господа ради.

Флавиан все так же открыто, прозрачно глядел на старца, теплотою голоса, журчанием пустотных слов утишивая Никона, верно зная его отходчивую натуру. И Никон тут же отмяк, виновато отвел взгляд, но, спохватившись, приказал стрельцу:

– Слышь, Евтюшка, тащи ружье. Не могу больше терпеть дьяволу слугу. И в день, и в ночь без отдоху, все точит и точит, как напильник ржу. Нашлет же сатана всяких проказников, а ты, монасе, доглядывай за има, чтобы не нашли они щелку... Ух ты, ведьмак собачий! – погрозил Никон ворону. Тот уже снова взгромоздился в развилку березы и оттуда щелкал клювом, кыркал и скрипел, как дверь в закипевших жиковинах. Евтюшка вдруг загорелся, из сеней притащил ружье, заправил в граненый ствол пороху, забил свинцовую пульку, на полку подсыпал огневого зелья:

– Владыка, и не страшно? Ино грех на душу. Живая птаха, бат тоже жить хочет. Мало ли ей взбулгачилось; может, заснилось что иль оголодала, а вы озлились, – толковал Евтюшка, однако сияя щекастым лицом и готовно протягивая тяжелую пицаль святому старцу. – Погрозили бы лешачихе православным крестом иль кулаком на худой случай, она, глядишь, и опамятуется... Знаешь ли, отче, боевое дело? Себя-то не застрелишь до смерти? Приклад-то пуще упри в плечо, да ноги-ти разоставь пошире, да не стой враскорячку, как баба с ухватом у печи, – забывшись, наставлял Евтюшка.

– Монахи-то и с татарвою бились на Куликовом. Тоже мужицких кровей... Да ты, Евтюшка, лучше бы спросил меня, чего твой патриарх не умеет. Он может и доправить, и заправить, и выправить. Он может и ступни сшить, и басурмана на пику посадить, – похвалился Никон, и все его заскорбелое, морщиноватое, серое, как старая доска, лицо наполнилось самодовольством, и под щетинистыми козырьками бровей нелюдимый взгляд оттепился.

Птица же не чаяла угрозы и в своей дерзости и нахальстве позабыла всякую опаску. Обычно лесовой ворон от человека прочь бежит, забивается в самую кромешность, в то глухое раменье, куда редко ступает лешая нога; он издалека чует бродника и горловым скрипом дает знать о чужаке всему звериному братству. А тут, дурень, заселился, не спросясь, под мона-

стырские крыши, кропит лайном чешуйчатые купола, выхватывает едомую милостыньку чуть ли не из горсти монаха, да еще и грубит кормильцу.

... Обычно пищалицу ставят на рассоху, полпуда весу не каждая рука выдержит, чтобы не качнулся ствол, не дал сбою. Да ведь и Никон не боярских кровей, житними колобами вскормлен; ему бы розогные кули с солью на дощаники грузить, а в каждой пудов по двенадцать будет.

Никону келья мала, он упирается головою в притолоку, невольно кланяется матичному бревну. Он согнулся в коленях, встал враскоряку, чтобы подладиться к оконному проему, но гордыня не дает уложить локти на колоду. Он забыл про государское неотложное дело, и про смуты, что угрожают Руси, и про всех злокозников, что мурыжат его в заточенье; Никон вновь простец-человек мирской закваски, далекий от монашеского устава, и сердце его полно трепетного азарта.

– Чего мешкаешь-то? Как рожать собрался... Не-е, с тобою на боях не приведи Господь, затылка уж не подставляй. Другу голову сронишь, – укалывал Евтюшка; он набрался храбрости и, забывшись, почитал себя за ровню.

– Ой, рано пташечка запела-а, когда кот в кустах. Братец Флавиан, ты не слушай пустомелю, а подай-ка очки с поллицы, блазнит малость... Сколько этих ведьм понасажено на суку? Две, абы три? Возьму меж има, так вернее. – Никон засмеялся. Он вроде бы тянул время, чтобы ворон снялся с дерева, и тогда можно по-доброму отступить от дурашливой затеи и себя не умалить; но с этими словами он как бы случайно нажал на спуск, вовсе не целясь. Пищалица лайконула, разорвала монастырскую тишину, келья наполнилась вонючим пороховым угаром. Сквозь дым поначалу и не распознать было работу Никона.

... Ворон же упокоился под березою неряшливым комом, полузатонув в ворохе опавшей листвы.

... Ой, батько-батько, вековечный смутитель мирского духа; знать, высоко вознесся ты сердцем своим, что нисколько не озаботишься о имени бренном своем; будто все слухи, все чужие мнения, поклепы и сказки ты уклал под сапожную стельку, да и примял заскорбевшей плюсною, как лонешнее сено. На кого положил ты надежды свои? Кто всесильный не даст сронить чести твоей? Иль ты так обнадеялся на судьбу свою, что всякая прихоть ложится чистой строкою в небесную книгу твоего житья?

Никон опаматовался, смущенно сунул пищалицу стрельцу.

– Ступайте прочь, не замешкав. Да благословенна будет дорога твоя, Флавиан, и молитва моя с тобою. Спешу спасти Михайловича... А коли на встряску потянут, родненький, так не кляни отца своего последним словом. Шепчи лишь: дай, Господи, терпения и спасибо Тебе за милость.

Никон закрыл створку, сквозь запотевшую слюду, сшитую из мелких лоскутьев, видел, как пропал за углом монах. Стрелец нагнулся, поднял мертвую птицу, перекинул через огороду. Тут на рысях подскочил пристав и стал пушить Евтюшку. Тот показывал на монастырскую стену и прибреживал: де, помстился ему вражина, чужой человек: де, уже и ногу перекинул через ограду...

Никон задернул суконную ширинку на окне, затеплил свешник, елейницы под образами и встал на часы.

Уже другим утром стрельца Евтюшку вкинули в студеную келеицу под надвратной церковью, где когда-то коротал свои дни старец Никон.

* * *

ИЗ ХРОНИКИ. «... Двадцатого октября шестьдесят восьмого года бояре в присутствии царя допрашивали старца Флавиана, в чем состоит великое

дело, с которым прислал его Никон. Флавиан объявил: „В Петров пост пришел в Ферапонтов м-рь из Воскресенского монастыря черный поп Палладий и признался Никону, де, был он на Москве на Кирилловском подворье, и сказывал ему черный поп Иоиль: „Никон меня не любит, называет колдуном и чернокнижником, а за мною ничего такого нет, только я умею звездочетие, то у меня гораздо твердо учинено; меня и в Верх государь брал, как болела царевна Анна, и я сказал, что ей не встать, что и сбылось, и мне государь указал жить в Чудове, чтоб поближе; мне и Богдан Хитрой друг, и говорил мне, чтобы я государя очаровал, чтобы государь больше всех его, Богдана, любил и жаловал, и я, помня государеву милость к себе, ему отказал, и он мне сказал: „Нишкни же!“ И я ему молвил: «Да у тебя литовка то умеет, здесь на Москве нет ее сильнее!» И Богдан говорил: «Это так, да лихо запросы великие, хочет, чтобы я на ней женился, и я бы взял ее, да государь не велит“.

Призвали к допросу Иоиля. Тот объявил, что приходил к Палладию лечить его, но ни о чем другом с ним не разговаривал, а у Хитрова никогда и на дворе не бывал. Призвали Палладия; тот объявил, что лечился у Иоиля, но ни о чем с ним не говаривал и в Ферапонтове Никону ни о чем не сказывал. Вольно старцу Никону на меня клепать, он затевать умеет. В то время, как я жил в Ферапонтове м-ре, приезжал стряпчий Иван Образцов и привез Никону государева жалованья 500 рублей, да старцам, которые с ним, 200 руб. Никон им этих денег не отдал; я об этом со старцами поговорил, и Никон, узнавши, велел меня из Ферапонтова дубьем выбить.

Иоиля обыскали и нашли книги; одна книга латинская, одна по-латыни и по-польски; книга печатная счету звездарского; печатана в Вильне в 1586 году; книга письменная с марта месяца во весь год лунам, и дням, и планидам, и рождениям человеческим в месяцах и звездах; тетрадь письменная о пускании крови жильной и рожечной; записка, кого Иоиль излечил, и те люди приписывали руками своими.

В ноябре отправился к Никону стрелецкий голова Лутохин; он должен был рассказать Никону все дело, а также спросить: в келию воду сам носит и дрова рубит своею ли волею или по неволе.

Никон отвечал: «Я приказывал Флавиану известить о Хитрове. Я не задержал Палладия и не отправил к государю потому, что надеялся вскоре сам государевы очи видеть. Все ждал, что государь освободит меня и все мои монастыри отдаст. Терпел я год два месяца в заточении и никаких клятвенных слов не говорил. Вперед еще потерплю, а если по договору царской милости не будет, то по-прежнему ничего государева принимать не буду и перед Богом стану плакать и говорить те же слова, что прежде говорил с клятвою».

Лутохин спросил: «Дай мне росписи того, чего тебе не дают из кушанья».

Никон отказал: «Что мне росписи давать? У меня никогда кроме щей да кваса худого ничего не бывает. Морят меня с голоду».

Лутохин справился у монастырских властей. Ему показали, что у Никона никогда без живой рыбы не бывало; показали и садки, где для него хранилась рыба: стерляди и щуки, язи, окуни, плотва. Но Никон ответил, что этой рыбы есть нельзя, она изсиделась.

Лутохину показали кресты, которые водрузил Никон в разных местах с надписями: «Никон Божьей милостью патриарх поставил сий крест Христов будучи в заточении в Ферапонтове м-ре...»

* * *

Черного попа Иоиля за еретические кощуны на православную церковь сослали на Колу на тяжелые работы, откуда он через Кемь съехал в Соловецкий город к пущим ворам и заводчикам бунта.

... Стрельцу Евтюшке Попову жгли пятки, дознавались, был ли кто у него в товарищах; он же, подкупив сторожу, выломился из застенки и сошел на Белое море к монастырским сидельцам.

Брата Флавиана Никон отправил на Анзеры поклониться мощам преподобного Елеазара. Так Никон из устроителя смуты невольно становился ее приказчиком и духовником.

Его имя кляли соловецкие монахи, но с окраин Руси сбегался народишко, чтящий свергнутого патриарха. Укрылись на Соловках многие капитоны-чернецы и бельцы из понизовых городов, где их от церкви отлучили, так те великого старца величали антихристом и псом бешеным; но сошлись за стенами монастыря московские беглые стрельцы, и разинские донские казаки, и боярские беглые холопы, – так те Никона почитали за святого и мечтали вновь видеть на патриаршей стулке; крестьяне же подмосковных волостей, пополняя соловецкую рать, знавали Никона за кроткого милостивца, за Божьего угодничка, за радетеля всякому несчастному смерду, кто не только ноги омочит милостынщику и погорельцу, но и за нищий стол не побрезгует сесть и похлебать штей из одной мисы. Но всякий бунт, как полуночное кострище в степи, притягивает к себе много всякого странного бродячего народу, кому своя жизнь – копейка, а чужая – полушка; вот и на зов соловецких старцев, худо зная русского языка и не ведая тех страстей, отчего затеялась голка в морском оттоке, приплыли иноземцы многих кровей: свейские немцы и поляки, евреи и турки, татаровья и гречане; в общем, всякому злу корень собрался за стенами биться насмерть.

И не мысля о дне завтрашнем, живя одним лишь часом, уж, почитай, восьмой год монастырь противился государю, не желал признать его кощунных новин.

Глава восьмая

Затейщики всякого переустройства, свары и смуты исходят из того глубокого убеждения, большого упрямства и самомнения, что все им позволено, что все подданные, как один, желают перемен; из этого лишь заблуждения, напрочно укрепясь в нем, меньшинство иначит жизнь окружающую по своему вкусу, и норову, и страстям, и силою сталкивает большинство народу с заповеданного предками пути, уверяя, что все старое – худое, все прежнее – изжитое; что в иных народах похвальное, то в наших землях – отвратное: не так ходим, едим, глядим, одеваемся, пьем, смеемся, плодим детей... И чтобы укоренить перемены, глубже запахать семена невиданных досель злаков, затейщики всякое несогласие с собою считают за тупое непокорство, своеволие и стихийный темный бунт... Воистину прав не тот, кто прав, но кто силен, лукав и беспощаден. Во все времена оглушенный затеями народ, искренне боясь новин (и почасту бывая природно правым), бессильно ярится, и плачет, и стенает, ино кулак вскинет с угрозою, иль подкинёт огненного петуха под застреху, иль взмахнет секирою над господской шеей, но, увидя всю напрасность протеста, после уже смятенно бредет под ярмом, смущенно уповая лишь на Божью милость.

У кулака своя, лешева, нечистая правда: «Выше неба очи не растут, выше солнца сокол не летает». Но что мог позволить упорный в вере русской человек, ничем не могущий возразить подавляющей силе? – да только что душою поверстаться с истиной, веровать в нее до гроба в скиту ли, в одинокой скрытне иль в домашнем куту, а ежели приведется, то сыскать себе союзника в той каморе, куда втолкнул Михайлович, почитай, всю земляную вольную Русь. А вместилах-то можно при случае и стены пошире раздвинуть, и замки сбить.

... Говорят, де, наш-то государь – Алексей Тишайший: де, он и мухи не пообидит, со лба не сгонит, не то на кого грозу самолично наслатъ; де, он ниже травы, тише воды, и каждое слово его – как алмазное крошево из Господней горсти; де, голоса никогда не подымет, каждого рабичишку обымет, как брата своего во Господе; но исторгнутый из груди глас его звучнее архангеловой трубы и доносится до всех пределов Руси. Так придворные лъстецы шепчут, кто творит языческие капища позади православных алтарей...

Оле! Лишь тот, кто истинно верует в Иисуса нашего Христа, в Родину-мать и в свой народ, может понять, как трудно, почти невозможно расставаться с обычаями предков, с тем жизненным уставом, с коим бытовали до тебя на земле десятки поколений родовичей; земля веками наставляла и научала, как жить по правде, каких правил держаться, какие премудрости чтить, и, отбросив их за ненадобностью, как ветхое платье, человек как бы становится вдруг нагим и одиноким посреди гульбища, и больше всего и боится-то он, как бы в этой нагоде не предстать пред Очию.

... Но, как всегда, устроители гибельного дела, где бы ни затевалось оно, не сомневаются в своей правоте, и эта напыщенная ложная самоуверенность и дает им сердечной ровности даже в самых жестоких и беспощадных решениях. И если и бывают они когда в смущении или духовном томлении, то все сердечные муки истлевают в тайне от чужого глаза или замыкаются в груди до смертного часа.

Ибо невозможно им прилюдно выказать слабость свою и на расстанной площади иль на дорожном крестце посчитаться с совестью своею, ежели она не померла еще.

... И суда-то земного не бывает им даже по долговому времени и здравому размышлению; и хотя бы реки невинной крови пролиты и наши страдальцы из земных теснин вопиют по себе, устроители всеобщего счастья вдруг становятся героями в людском мнении, и тогда им ставят языческие кумирни иль присовокупляют их имена подле православных святынь и курят фимиам.

Господи, прости их...

* * *

Святое озеро. Вода не заморщит, светла, как хрустальное стекло, лосая, как бабье зеркальце. Лишь стальной отлив под береговыми кряжами, да кой-где вспыхнет бисерная строчка под лапками жука-плавунца, да жемчужно просыплются брызги от взметнувшейся россыпью рыбьей мелочи. Обломы городских стен и купола церквей как бы опрокинулись вдруг и успокоенно застыли в водах вниз головою.

Пороховая гарь рассеялась; небо, как церковный потир, обихоженный служкою, – желтое с голубым; крохотное незакатное солнце будто рыжий цветок плешивца. Тихо, мирно, благословенно. Туда, в морскую голомень, отплывают сладковатые облака гари, чада, пахнущие порохом и смертью. Чайки снова взнялись над обителью, выются над куполами, как клочья хлопковой бумаги. Пушкари банят застенные пищали, льют из кадцей на бомбовые мортиры и гранатные пушки; иные стрельцы, бельцы и служки (издали не разобрать сословия) разметались на покатых крыш, возле барабанов собора, на кровлях церквей и келий.

Воевода Иван Алексеевич Мещеринов, распахнув кафтан на все гнезда, подставив волосатую грудь короткому северному теплу, внимательно разглядывал в зрительную трубку монастырский город, приценивался к угловой Никольской башне, к валунным уступам городьбы, едва хваченной моховой плесенью; солнце скользило по гранитным бруснично-красным валунам, утопало в лещадных сизых плитах, выломленных из прибрежных отмелей, играло в цветной россыпи хряща, хитро убитого меж камней-одинцов, похожих на бычьи оранжевые головы, меж которых кровяной прожилкой текла кирпичная кладка, спаянная известью и куриными яйцами.

... Вода, болото, гольный камень, снова вода, пристенный ров, десять сажен подошвенной кладки и шесть сажен в небо, да восемьдесят пушек по стенам и башням, да сколько мелкого оружия по обломам, – того и не счесть. Тут голоручьем, горлохватом не возьмешь. Ежли и обкладывать крепость, то большим войском, а не малой ратью в шесть сотен стрельцов, худо свичных с осадными боями; да и проломные большие пушки нужны, и городки с тарасами, чтобы орудья выставить для прямой стрельбы поверх городских стен, чтоб сшибать из засидок воров.

Мещеринов мысленно вздымал приступные лестницы, примеривал тайные подкопы, чтобы подвести взрывной фугас, выглядывал прорехи в кладке, плохо задвинутые калитки, и ворота, и скрытные ходы, куда бы можно проломиться в ночи, и откуда смогли бы явиться с неожиданной вылазкой глумливые воры; но нет, везде крепость уноровлена, по-хозяйски уряжена, будто собрались монахи сидеть вечность иль вовсе отложиться от государя, нет ни одной просовы и щелки, куда бы можно проточить хоть палец. Вот и Клим Иевлев с тысячьо ратников проторчал под монастырем два года, да ничего так и не высидел, окромя дрязг, и безденежья, и бесхлебицы, и снялся с безделицы назад в Москву. Прощен ли будет? Государь редко шутит и если нетерпелив нынче и шлет ежедень посылки с указами чинить бои без промешки, значит, прижгло Михайловича в самое сердце; и надо Мещеринову варить скорую кашу и добре мешать, чтобы не пригорела, как бы самому не оказаться в опале. Вот отчего с такой прилежностью он обнимал взглядом Соловецкую крепость, словно не святой то был монастырь, но вражий шляхетский стан с надменными панами... Тех-то бито было и в хвост и в гриву, бежали прочь, только уноси Бог ноги...

Из окопа воевода вылез на тарасы, плотно убитые камнем-хрящем, привалился к пушке и задрал голову, уже не боясь острастки; поди, надоело собакам, часов пять до полудни били по городку из большого наряда, ядро по девяти фунтов, не давали головы высунуть, не то чего доброго сделать, а сейчас, как бы справив нарочное послушание, сошли в трапезную. Никольская башня, куда рукою можно камень добросить, походила на слоновью ногу: сунься

под ступню – и мокрого места не станет... Экий циклоп ворожил крепость, словно бы выдувал каменный пузырь из гранитного крошева: тут и великану Сампсону, великому самохвалу, что ослиной челюстью однажды полторы тысячи врагов сокрушил, но вином упился, не достало бы силы и хватки... А ненокотский монах Трифон, этот долгогривый туземец, не особо видный собою и тонкий, как тростка, одной лишь волею, сноровкой и Божьим благоволением сбил из камня-дикаря экую неприступную заграду. И ума-то у него достало. Да и у тех трудников и молитвенников, что ломали лещадь и ворочали вагами валуны, перекатывая на подмости и полати, откуда мочи хватило? Ведь еда была не нынешняя, особо постная, – житние высевки с корьем заместо колобов, да грибки тяпаные и редкой день рыбе звено в ухе. Это нынче расповадилась грешные: им шти с маслом подавай, да разные масляные приспехи, да семгу, да икру в кажинный день, блины и оладьи, да курушки рыбные, кисели да яишницу, огурцы свежие да рыжики. Разохотились еретики с жирной ествы, попустили дрянную плоть свою к скоромному, голову – к пустошным мыслям, а сердце – к гордыне...

Так честил воевода воров государевых и вдруг вздрогнул, метнулся в окоп. Кряжистый, приземистый, он не сплоховал, однако, ловко скинулся в шанец к ногам караульного стрельца; воровская пуля из-за монастырской стены высекла искру из тарели, опоясывающей ствол пушки, и с пристоном ушла в небо. Кто-то в городке засмеялся, но тут же и споткнулся под мглистым взглядом Мещеринова. Толстые с проседью усы воеводы наострились, как злые пики. Воевода вскочил на тарасу, погрозил монастырю. «Вот уж погодит-ка, сволочи, – визгливо вскричал. – Я вам глаз-от на ж... натяну. Будете свое лайно жрать, поганцы...» «Идит-ка ты на... Свинячий хвост, заячиное ухо. Прижарим нынче на огоньке, а опосля поперчим, да присолим, да похреноватим, чтобы не пахло назьмом, так ишо скушаем вас за милую душу и в один присест, проклятые жидовины, хриstopродавцы, сатанаиловы дети... Да пусть выродки ваши станут жабами, а бабы – курвами, а матери – змиями!» – сразу раздалось в ответ со стены. Замелькали в проемах и бойницах башен лица, засутились пушкари, и началась вдруг такая ружейная и орудийная стрельба, что небо скоро задернулось плотным серо-дымным запонном, как в осеннее предвечерье.

Чайки со стоном взнялись над обителью, скатились на Муксалму, чтоб переждать чело-вечью свару.

Воевода ослабил, нервно заводил бурой шеей, будто перетянуло воротом, и смуглое худощавое лицо приняло злое выражение. Зубы у Мещеринова были заячиные, лопатами, оказывается, едва влезали в рот, таясь в длинной бороде, да и те стояли вразнобой, как худая ого-рожа. Мещеринов, уже не прячась, взмахнул сабелькой, у пушек споро завозились запальщики и наводчики; стрельцы, укрывшись за убитую камнем насыпь, принялись дружно палить по обители. И у Белой башни, где на отводном карауле стоял ротмистр Гаврила Буш, и у кожевни на шанцах, где засел сотник Матвей Ясановский с командою, тоже завелась заполошная пере-стрелка не столько на поражение, сколько для устрашения друг друга, чтобы вор зря из-за стен не совался на волю, и чтоб незванный недруг не вздумал спробовать монастырского свинца.

У Никольской башни городок оказался как бы в мертвой зоне, не могли поразить монахи ни пушечным боем, ни со стен, потому, досадуя, взобрались на Спасо-Преображенский собор, и на звонницу, и на портную полату, и на Успенскую церковь, чтобы хоть с крыш наддать антихристовым слугам из винтованных карабинов, подсыпать горячего уголья в штаны. Гранаты летели на обитель, как хвостатые кометы, и, взрываясь на монастырском дворе, высекали снопы оранжевых искр, насмерть поражали замешкавшихся; от поленниц с дровами и дере-вянных кровель занималось пламя, белесое, с дымным хвостом пламя, но огонь скоро зали-вали монахи. Люди с той и другой стороны ополчились всерьез, запах серы, и жженого камня, и крови, оказывается, возбуждал и горячил чувства не хуже горелого вина; глаза стали злыми, шальными, с отсутствующим взором, как у ищейных собак, почуявших зверя, и всякому, кто ввязывался в драку, захотелось крови. И о жизни своей стрельцы вдруг перестали заботиться,

они матерились, оскалясь, подначивали друг друга, и каждый больше всего боялся пасть в глазах других, выказать слабость и трусость, хотя и не всякий был храбрецом из первого десятка...

Мещеринов же так и застыл на земляном городке в клубах удушливого дыма, невдали от безоткатной бомбовой пушки; оглохший, нарочито отворотясь от монастыря и презирая пулюдуру, он каждому залпу запоздало давал отмашку турецкой сабелькой. Но навряд ли видели его пушкари, они слушались своего порутчика; они выцеливали Никольские ворота, чтобы пробить бреши, а стрелки за валом метили по бойницам, по переходам крепостных стен, где суетились мятежники. Гряку-бряку было много со всех сторон, и от Святых ворот доносился бой, в самую голомень, поди, к северным немцам скатывался этот громовой гул, но для мятежников стрельба не приносила никакого урона. Ядра отскакивали от стен, едва выщербливая язвы и выбивая облачки кирпичной пыли; валуны, как головы мамонтов, лишь надавали чушкам, и те, отразясь, падали в ров и там шипели, остывая в воде. Так можно и год, и десять лет проторчать безо всякого проку пред мятежной крепостью, и лишь решительный приступ мог бы разом кончить дело.

Монастырь решил, что дал непрошеным гостям страху, преподнес урок, и сразу отступился от перепалки. И сама собою стихла стрельба с другой стороны; наступила звонкая тишина; отупевшему воеводе казалось, что его вынули из каменного мешка и поставили противу солнца. Он присел на станок пушки и вытер фусточкой распаренный лоб, зачем-то озираясь по сторонам, будто подсчитывал урон. Лишь один стрелец лежал в ложбине за пригорком с оторванной по рассоху ногою и мучительно стонал, закатывая глаза, быстро мертвея лицом. Ищущий взгляд его наконец отыскал сидящего на раскате воеводу, с надеждой о чем-то спрашивая его, а Мещеринов лишь глуповато улыбался и вытирал с лица испарину. Он устал вдруг, тело его будто измогло после маятно надсадной работы, закоснело от долгой грязи, и чужая боль не достигала сердца. Да и чем мог помочь он? каким словом ободрить, чтобы вдунуть силы в отходящую душу?

Слуга поднес воеводе ромanei из походной баклажки, нацедив в оловянную чарку, и, только выпив вина, Мещеринов наконец-то опомнился от сполоха, уже хозяйским взглядом обвел окрестность: в полуверсте, где войско его стояло табором, голые стрельцы забродили в Святое озеро, окунались с головою, терли друг друга жидким костромским мылом и толченой дресвою: радые жизни, они ржали, как стоялые жеребцы, и их гогот далеко разносился окрест, нарушая предвечернюю, такую странную сейчас тишину. Мещеринов перевел зрительную трубку вдоль стен к Белой башне, ему захотелось знать, как поверсталось в другом земляном городке, не затеяли ли презренные воры удачной вылазки и напротив Онуфриевой церкви, чтобы посадить сотника Ясановского на пику. Но ни от Святых ворот, ни от Белой башни не было гонца с дурной вестью, и воевода скоро успокоился. Хотя случай мог быть самый заполошный и каверзный с печальным исходом. До Святых ворот от Никольской башни станет все четыре версты с половинкою, и кабы случись там беда, помощи никакой не оказать.

Воевода велел подать раненому вина, но уже не понадобилось. Стрелец затих; его повалили на полость и отнесли в полковую часовенку. На стрелецком кладбище за озером вечером выруют еще одну ямку.

Мещеринов принял вторую чарку, вытер лицо фусточкой, поправил пуховую белую шляпу; вечерело, золотистый туск уже лег на небо, и пришла пора подаваться к вечерней выти; вот и на поварне в лагере уже отбурлили кашные медные котлы с кулешом, и стрельцы разлеглись возле балаганов, готовые к трапезе. Воеводе отчего-то вдруг расхотелось покидать шанцы; за две седмицы он словно прикипел к земляному городку, к валам, отсыпанным из хряща, и к раскатам, высоко вздыбленным для пушек, и к мортирам, задравшим в небо зияющие жерла, и к медным начищенным пищалям и фалконетам, и единорогам, горделиво украшенным по стволу, к грудам ядер и гранат, упакованных в берестяные корзины, бережно обложенных сосновой стружкой и сухим мхом, к человеческому поту и пороховому смраду, к запаху крови и

смерти, неотлучно витающей среди солдат, в минуту отдыха вповалку лежащих в своих печурах и возле деревянных станков. Одной разрывной бомбы со стены, совсем случайно угодившей сюда, хватило бы из этого военного порядка сделать месиво из человечины, маслянисто-черной земли и гранитного крошева... Мещеринов решил встретить самолично караульную смену, расставить ее в ночные дозоры и лишь тогда податься на ночевую в свою лодью, стоящую в губе Глубокой напротив Святых ворот. Там подждал его сын-отрок и, наверное, распереживался за отца. Там челядинники уже давно сготовили стол, желая угодить суровому хозяину. К воеводе подвели красного коня с белой звездой во лбу, взятого в монастырской конюшне, но Мещеринов вдруг дал отмашку, чтобы стремянный погодил.

... Этот городок на репищах трудно дался воеводе. Бывший голова Клементий Иевлев пожег все монастырские вонные дворы и амбары и службы, а сам отплыл прочь, и в этом месте монахи свели лес вчистую, оставили лишь пеньё, и по-за огороды под стеною насыпали земляные валы и засели за караулом. Второго июня прибыв на Заяцкий остров, что в пяти верстах от монастыря, Мещеринов отправил полкового священника Димитрия, да сотника холмогорских стрельцов Ефима Бражникова, да подьячего новгородского приказа Смыслова уговаривать мятежников, чтобы они пришли в чувство, образумились наконец, обитель бы отперли и впустили воеводу с ратными людьми, чтобы всю проказу закончить миром.

Но пушие воры соловецкие и заводчики не открыли ворот, ключей от города не вынесли, но сами вышли на пристань, а с ними же многие мятежники с ружьями и бердышами, и поначалу хотели до смерти убить посланников, да сдержались; но такие лживые пригрубые слова толковали и на царя, и на веру православную, называя ее латинскою и жидовскою, что у послов уши пообвяли; уговорщики удалились на лодью и сплыли назад в становье к полку, благодаря Господа, что остались живы. Другим же днем Мещеринов переправил полк на Соловецкий остров и триста стрельцов бросил к Никольской башне, и к Святым воротам, и к каменной кожевне и всех изменников выбил из-за валов, загнал обратно в крепость, но на том бою был убит порутчик Василий Гутковский и двух стрельцов ранило. И вот уже двенадцать дней били из монастыря по шанцам из большого наряда, кидали ядра по девяти фунтов, крепко обложили огнем да еще и в минуты затишья со стены орали всякие поносные хульные слова, каких свет белый не слыхивал, честили и воеводу, надсмехались над ним и обещали в скором времени залучить в плен и бросить в темничку крысам на поедь. Вот и сейчас с минуты на минуту особо ретивые бельцы и монахи вылезут на облом и в проемы бойниц, облепят покати крыш и галдарей и подымут ор, станут собачить стрельцов, обкладывать матерно, стремясь более задеть душу, чтобы вывести мужиков из себя, затравить на стрельбу...

К вечеру засиверило, по небу пошли рудо-желтые перья, как бы волшебная птица-сирин распушила царский хвост; по небесному таусинному шелку выткались на склоне невиданные цветы, как на кисейной запоне в боярской опочивальне. Лес по гривам за Святим озером стемнелся, заугрюмел, оттуда потянуло сквозняком. Воевода почувствовал, что остыл, запахнул кафтан, застегнул на все гнезда, пуховую шляпу натянул по самые брови и вдруг без злобы погрозил монастырю, вроде бы вызывая чернцов на ответную дерзость:

– Ну погодит-ка, залупанцы... Сколько веревочке ни виться, да на конце петелька будет по ваши шеи... Сучьи потрохи! Назем свиной!..

И оскалился воевода, выказав заячьи зубы.

В ответ из Никольской башни выметнули на лопатах человежье лайно.

* * *

... Соловки.

Для одних – чужедальняя сторонушка, непролитая горькими слезами, почитай, самый край света, окруженный полуночными льдами, за которым начинается смрадное провалище,

зовомое тартарары, попасть сюда – как в гроб живым лечь; для других – сладкая обитель, наполненная Божественным мирром; для одних – бесова дудка, где в свои накры и гудки наигрывает сатанинская рать, а для поморянина – это свойская, родимая земляца, воистину райское место, и как желанно, ежели настигнет беда, угодить в уносе хотя бы на голимый камень, зацепиться хотя бы за клочок этой северной земляцы, со всех сторон подбитой водами моря Студеного.

Миштые рады с пушицею, с зазывными рудо-желтыми морощечными кулигами, и болотины, плотно усаженные клюквою, и рыбные озерины, окруженные травянистым кочкарником, и лесные поляны с дудкой-падреницей и морковником, и желтыми кубышками, с тем высоким, вяжущим ноги разнотравьем, от коего скоро пьянеет самая тверезая голова; тут и чащинные березовые ворги, заросшие багульником, и голубелью, и грибом – этой лешевой едою, и звонкие сосновые боры с брусничными разливами, и елинные куртинки по озерным обмыскам, где рай всякой нечисти, собирающей свои рати на монастырь, и каменные гряды вдоль морского отока, унизанные птицею, и узкие, как нож, губы, пристанище сельди, и сувойные, с крутым течением салмы – все это и есть острова Соловецкие. И в какую бы сторону ни ступила твоя нога, в какой бы бурелом ни угодил дуриком, – лишь остановись, прислушайся, и ты поймешь раскатистый грозный гуд Студеного моря; в день и в ночь оно бессонно накатывает пенные валы на каменные корги, бьется о гранитные уступы, и тогда водяная пыль, пряная от морской травы, сеется далеко вокруг. И если выбрести из леса на самую гору о край моря и застыть на крутике, то увидишь, как в голомени, горящей тихим бестелесным огнем, поверх мерного качания воды вдруг вспыхнет гнутым веретенным телом зверь-белуха и, как бы играясь с тобою, отворит пробку во лбу и выбьет с напором в небо радужно-жемчужный жгут морского рассола; а в песчаной релке почти к ногам твоим прильнет серая пятнистая зубатка и устави́т на тебя сквозь прозрачную слюду немигающий пронзительный взор; иль рыба-семга дугою вскинется над гладью и, как серебряный слиток, сверкнув на солнце, в какой-то миг затихнет в воздухе, а обессилев, с шумом и плеском опадет обратно в атласные свои постели, рассыпая вороха брызг.

... Это первым насельщикам было тяжело орать скудную пашенку; да и в те лета почасту выпадали зябели и замоки, а что кинут в земляцу, того и не собрать. Но после, как обзавелись по государеву указу соляными варницами, да рыбьими угодьями, да лешими озерами и охотничьими путиками, речной торговой посудю да многими обжами земли, и оброчными мужиками, да когда обложились каменными стенами и стало почетно положить в обитель свои вклады, чтоб записали в литию и подстенный синодик и вечно поминали по монастырскому чину, доколе Господь Бог благоволит той обители стояти, и когда ризницы наполнились дарами, а казна деньгою, – тогда и монастырь-то стал не просто монашеским скромным житьем и неприступной крепостью для порубежного вора, но, почитай, самой островной соборной республикой со своими волостелями и войском, и срядом, и урядом, со своей налогою и судом, и расправою, с кем считаться было не зазорно не только государю московскому, но и свейским королям, подсылающим на Соловки своих послов...

Но сусеки те и закрома не сами собою полнились, не сами собою ставились церкви и полатки, но трудами многих безвестных иноков, и трудников, и бельцов, и обетников, что, не жалея о суровом послушании, повалились на погост; и стараниями тех старцев, и усольских приказчиков, и игуменов, что каждую копейку собирали в сундуки, полагая, что рубль без полушки не живет; и помыслами тех святых отцев, что не щадя живота своего пасли завещанных овец, вплетая каждый серебряный грошик в венец северного исполина.

Вот и митрополит Филипп из рода бояр Колычевых, позднее удушенный же боярами, немало положил трудов на созидание обители: вычистил луга, завез скот, провел дороги, устроил большой братии больницу, учредил здоровую пищу, внутри монастыря подле сушила поставил каменную водяную мельницу молоть зерно на хлебы, для чего семьдесят ближних озер соединил канавами со Святым озером; в братской и общей кухне прокопал колодезь, куда

вода шла через подземную трубу под крепостной стеною и зимою обогревалась нарочно устроенной печью. Сверх всего св. Филипп на островах Муксалмах срубил скотиньи дворы. Он же развел на острове лапландских оленей, завел салотопни и жироварни и обширные конюшни на четыре сотни голов; воздвиг соборные церкви, огромную трапезную, вмещающую сверх тысячи едоков; близ монастыря нарыл насыпи, и каналы, и каменную пристань, завел разные машины в помощь трудникам; заимел кирпичные заводы, заменил старинные чугунные клепала колоколами... При нем же были построены каменные поварни и сушило. И возле Спасо-Преображенского собора великий труженик, устроитель земли русской самолично выдолбил себе могилу долотом и киркою, в нее и положили со временем святого монаха, удушенного боярами. Оказывается, как много может сделать человек, если он полон любви к ближнему, когда жизнь свою почитает за мгновение, незаметно перетекающее в вечность; возлюбя Господа, он с любовью созидал на северном камени, обложенном льдами, потом своим и ближних трудников оттапливая и вспаивая черствую землю.

Жаром своего сердца Филипп Колычев хотел возжечь светильник пред алтарем, чтоб все пришедшие обогрелись у него и возлюбили ближнего, как самого себя, и в этом пламени митрополит сгорел, как Христос, слишком много желая от других, идущих иной стезею. Он от зачурованных и от очарованных захотел чистого житья. Филипп проповедовал, не прижаливая никого из властей; но и дворцовые прихилки, и льстивые примолвки, и лживые обещания, кощунны и обманки он с горя почел за русский нрав. Говорил, обливаясь слезами и негодуя: «У татар и язычников есть закон и правда, а в России нет правды; везде славится милосердие, а в России нет сострадания даже к невинным и правым. Сколько невинных людей страдает. Мы здесь приносим бескровную жертву, а за алтарем льется невинная кровь христианская. Грабежи и убийства совершаются именем царя».

Но ведь Русь сама приняла Филиппа, как жертвенного агнца, положила на алтарь и стала поклоняться ему. Но она и Грозного почла за сурового, но праведного отца. Да так ли глуха, немилосердна и жестока была Русь, коли считала себя Домом Богородицы и мирром, истекающим от невинно убиенных, целила душу свою.

Справедливо и то: вот сvez прокуда Никон св. мощи Филиппа Колычева с Соловков, запустошил ямку возле стены Спасо-Преображенского собора, выкрал с соизволения Тишайшего неглennые те мощи, охраняющие обитель от всякого соблазна, а бесы тут как тут: через стены не взлезли, так сами монахи, потакая утробе своей, допустили сатанину рать в Святые ворота, встретили хлебом-солью: де, идите к нам и правьте. Вот и направили вражьи угодники пушки-галаночки, окропили нечистым духом еретическим и давай палить смертным боем по православным братьям, словно бы очи их вдруг залило смолою...

Эх, знать, не ведают, сердешные, что творят. Так шептали по Москве. И кто молился за верных, кто клял отступников. Все смешалось в Доме Богородицы.

* * *

... Со всех сторон осадил воевода мятежников. Но как их выкурить из-за стен? какого зелья подсыпать кромешникам, чтобы проняло до печенок и сами бы поклонились государю. Но ежели человек решился умереть, он при любом догляде и в любых юзах украдет желанную минуту, чтобы обрезать себе жизнь. И этих вот выб... уговорами и молитвами не проймешь, коли сговорились меж собой до смерти противу государя стояти.

И решил Мещеринов деятельным умом: ежели жаждою и голодом не выморить воров, а хлеба в амбарах насыпано лет на восемь – десять, то можно же всякими теснотами изо дня в день прижимать воров, точить их язвы, создавать всякую неудобницу, а то и подсылать льстивые посулы и ложные наговоры мятежникам, чтобы смущать душу, и те в глухом сиденье в малом кугу, когда и ближнего сотоварища рожа обрыднет, скоро сами себя возненавидят, начнут люто

грызться и побегут вон. И что св. Филипп в свое время измыслил на благо, воевода решил его труды похерить.

Из отписки Мещеринова государю:

«... А которые, государь, проведены были семьдесят озер в Святое озеро, я те истоки велел засыпать накрепко, прокопать и спустить в море. И у них, воров, в Святое озеро прибыли нет ниоткуда. И мельница в монастыре молоть перестала; а в осень и весною с дожжей и снегу вода с горы в Святое озеро пойдет, и у них в монастыре мельница учнет молоть по-прежнему; и я, холоп твой, осмотрел место, что можно та вода из Святого озера выпустить в Гагарье озеро, а рву, государь, по мере будет копать семьдесят четыре сажени, и как из Святого озера воду выпустить, и не только мельница молоть перестанет, что и в монастыре трубами в колодезь вода не пойдет, а рва мне для выпуска воды копать некем, ратных людей мало, и те на работе крепят шанцы и стоят в караулах непрестанно. А в твоей волости, которые даны в Крестный и Соловецкий монастыри для работы посошных людей, без твоего указа послать я, холоп твой, не посмею. А надо на ту работу, что вода пропустить, сошных людей с двести и больше...»

* * *

Царского стремянного, бывшего ныне как бы не у дел, воевода послал досматривать за сошными мужиками, что заваливали камнем и землю канавы, прорытые к Святому озеру еще во времена игумена Филиппа, кайлили к морю стоки и спускали воду. Вроде бы не в явной опале служивый и к вине допросами не приведен, но не стало к нему веры: из Новугородской чети и из Тайного приказа доносили в челобитьях, чтобы за стремянным держать крепкий глаз; ведь среднего брата Феодора Мезенца казнили в Окладниковой слободке за бесчиние и хулу на царский дом, старший брат Феоктист-монах нынче засел с бунтовщиками в Соловецком городе на острове, из обители прочь нейдет, вот и от младшего брата по всем приметам не вем чего ждать, может и сблудить, огоряй и ворах потаковщик, ибо норовом вспылчив и переменчив, в житье одинок, к деньгам холоден, с ближними по службе резок и дерзок, к начальству не поклончив. Полковой священник приступал к Любиму с расспросами, к исповеди почасту приглашал, но стремянный, наверное, ваньку валял и ни в чем дурном и смутительном не открылся. Но ссадил Мещеринов Любима Ванюкова со своей ладьи, отправил в шатры на стан, к трапезе своей не приваживал, вином более не угаживал, совета не испрашивал, хоть и был стремянный выходцем из поморских мест, за шахмат с ним не садился, чем сыну, влюбленному в молодца по уши, досадил до слез и уныния.

А у стремянного, словно родимого дома не покидал, все стонал в ушах воп матушки Улиты: «Прокляну и до скончания века быть тебе проклятушим, дьявол косоротый»; а в глазах стояло истерзанное муками измозглое, как коровья кость, лицо брата, присыпанное снежной пылью, с мерзлым колтуном волос; таким откопал юрода из сугроба за Иньковым ручьем, в подобном виде, как из могилы восстав, когда-то явился Феодор в слободку середь зимы, бредя за опальным обозом протопопа Аввакума. Ночью в избе Феодор отмяк, отволгло лицо, покрылось испариной, глаза приотпахнулись, и оттуда потекла густая теплая синь, и губы прираспустились, и в черной ямке рта, как почудилось Любиму, обнаружились молочной белизны зубы, и седатая шерсть на скулях как бы завилась в баранью смушку. Ой, и чего только не помстится с горя при свете лучины: это десны обметало плесенью от постов и долгой туги. Мать разобрала гребнем волосы, обмыла родное тело, завернула в холщовый саван, а на Любима и не взглянет,

каменная и неприступная, будто на нем лежит вина; будто бы он, повязанный служебной лямкою с государем, перенял и на себя немилосердность его сердца; вроде бы он, Любим, вместо палача накинул на шею пеньковую петлю и столкнул брата с березовой стулки.

«Тебе бы умереть-то, а ты застишь свет, отелепыш, как сухостоина в бору», – не слыша слов своих, ненавистно шепчет Улита Егоровна, творя смертную обрядню, спешно проговаривая Псалтырю, подслеповато выхватывая из рукописанной полууставом книги, а больше прималвливая по памяти; многих отчитала на своем веку, и сама стала как корявая березка на юру, и оттого горько старенькой, что некому будет закрыть ей глаза, а этот байбак, что очарованно и нелепо застыл за спиною, завтра съедет из дому, и больше не видать меньшенького до скончания веку. Ведь для себя рощен-то, для своей юдоли, чтобы байкал мать в дряхлости, а он, шатун, не только родимый порог забыл, но и родову свою обрезал. Разрывается сердце матери от жалости, любви и досады: эта горечь точит искипевшее сердце, и Улита Егоровна не знает, как бы больнее ужалить сына, чтобы прожечь его до печенок и он бы очнулся над телом замученного братца. Продался, знать, продан за тридцать сребреников, вот и привечен государем-антихристом, привязан к ноге, как пес дворной, чтобы ворчал и кусал...

Открыли подполье, Любим слез в скрытню, из выломанных половиц, из продолбленной наспех ямки, едва освещенной стоянцом, дуло пронзительно и стыло, словно бы это была сквозная дыра не в сердцевину земли, а в небесный аер. Так возносятся праведники. Юрод рубил скрытню для себя и вот спрятался в ней навеки. Как знал: пригодилась. Расплывчато колыбалось вверху лицо матери, приспущенное в лаз, из повойника выбилась на лицо седая жидкая куделя, морщиноватое лицо налилось багровостью от напруги; на передызье тошно выли собаки, облаивая судьбину, на воле пуржило и стенало; белый куль, обвитый рогозными веревками, скользнул в объятия брата; пригорбленный от тесноты кельи, Любим как-то нелепо застыл на миг, не решаясь расстаться с мертвеньким, а после просунул Феодора под доски, пригрузил веригами, положил на грудь иконку Пантелеймона целителя, крохотную поистершуюся дощечку с ладонь величиною, где лик святого был едва ли больше ногтя.

В чем же вина юрода, чтоб так непросто, с таким гневом и жесточью прогнать его прочь с земли? Не заразил никого пикою, не пронзил ножом, не обокрал живота, не раздел – не обездолил, но лишь святую правду вещал, скитаясь по белу свету, и вот те обкусанные, неровно и нелепо выкрикнутые с папертей слова его показались волостелям страшнее свинцовой пульки и больнее палаческих огненных печатей?..

Любим прислушался к себе, мучительно вороша память и стараясь вызволить из забвения какой-то особенно страшный проступок Феодора, за что бы следовало убить того до смерти. И не находил... Сидел в скрытне, бегая от воеводы? – ну так монахово то, скитское дело, оно неподвластно суду; брезговал церковью, избегая ее? – так наложи суровую епитимью; бродил по Руси без путевых наказных бумаг? – так какие писчие нужны прошаку, милостынщику, что молится за всех грешных, выпрашивая для них милости у Господа; ну, бывало, терзал речами снулое приказное сердце, горделиво выхаживался пред боярами, ломал пред государем из себя пророка, – но и эта вина не для смертного же суда?

«... Иль недотыкомка я, верный балабон? иль в голове мох? – раз не могу разобраться в простом деле, что выеденного яйца не стоит, – думал Любим Ванюков, блуждая по Соловецкому острову. – Иль действительно не сердце у меня, а каменная варака, ежели немилосердно, не слезливо оно. Погиб братец, хоть бы крохотная слезинка выпала из глаз, хоть бы защемило сердце от кручины, – вдруг изумился Любим, отрешенно дивясь своей черствости. – И неуж душа в огромном теле моем меньше просяного зернышка?»

И тут за плечом прошелестело: Господь все может дать в один час и отнять в одну минуту... Милый, сынок, тебе ли уразуметь холодным умом и бездетным сердцем Божьи истины, что посеяны вокруг тебя. Лишь нагнись и подыми... Но куда тебе, поясница переломится. Кто не страдал сам, тот не поймет чужих мук. Не вороши памяти своей, живи про-

хладно у сытых даровых хлебов, ибо все одно не понять, для чего столько мучился твой брат. Подскажу: он к совести пробивался, он своеволие человечье и гордыню взламывал истошным воплем; де, очнися, перестань мучить ближнего, и он – брат тебе.

Сынок, манна небесная на тебя просыпалась, лишь свари кашицы и напитай черева; но с каждой ложкой хлеба помни: самое неверное – это милость сильного, она неожиданно приходит и так же вдруг убегает прочь.

«Где уж мне понять, темному! Кочерге ведь молюся, окаянный! – вдруг неведомо на кого разгневался Любим. – Ежли вши платяные засели в прошвах, так давить их надобно; ишь, воры, расселись на стенах, как кочеты на нашесте, да и посмеваются. Им и горе-то не в горе, а нам оно вдвое...»

Любим растерянно остановился, утопая по голени в моховой морошечной палестине, едва начинающей рдеть. Прислушался с надеждою к небесным громам, таким странным в бесцветном тусклом небе: а вдруг нынче и прикончится бессмысленная свара и можно будет вернуться в Москву и зашивать, наконец, свадебные блины. Доколе жить кукушицей при чужих гнездах?

Комар стоял над головой серым густым столбом, нестерпимо стонал, жаждал крови. Любим глубже посунул шляпу накомарника на лоб, оправил на плечах сетку из коньего волоса... Это ж как меня подпирают с боков и сверху, из самой глубины земли, и житья мне никакого не стало; всюду не у дел, всюду как заноза в пальце. Любим с тоскою встряхнулся, не зная, на ком бы сорвать злость; такие минуты отчаяния, неведомые прежде, все чаще навещали его; пулю бы сыскать иль на копье злодейское наткнуться, так ведь и пуля еще не отлита для него, чтобы до смерти пронзить огромные мясища с крохотной душонкою в груди... Иль братовья дурни, что и по смерти мне могилку роют, иль я безумен? – подумалось безо всякого смысла.

... С востока грозовые раскаты наваливались на остров вместе с кучерявыми дымками; словно августовские молоньи, вдруг вспыхивали хвостатые пробежистые огни, высветливая кромку леса. Под монастырем снова стреляли. В минуты затишья слышались голоса работных, их веселый смех (чему так радуются?), звон мотыги и пещни о рудяной гранитный камень; от становья доносился сладковатый, родимый сердцу дымок кострища, запах мясного кулеша. В обители убивали, там, у соборной стены, где когда-то покоился прах святого митрополита, с трудом добывали свежие могилки, а тут, на просторе, напитанном морской соленой влагою, сотня сумских мужиков с жадностью и упорством вершат бессмысленное дело войны, которое приказал воинский начальник. Скоро монастырским мятежникам и кружка воды покажется за дар небесный, за вино из чаши Христовой, а здесь десятки озер, нанизанных, как жемчужный пузырь, грезят в одиночестве, дожидаясь лодки монаха-рыбаря, который вдруг взялся воевать.

Корявый елиник расступился, и Любим вышел на травянистый обмысок; через наволочек сквозь густой морковник и дудки была пробита тропа, словно бы зверь какой одинокий ходил на водопой. Любим выбрел на берег; в моховой чаше, обнизанной мелколесьем и елушником, лежало круглое глухое озеро, дегтярно-черное, с лопушником, без единого рыбьего всплеска, какое-то безжизненное на первый взгляд. Пахло прелью, тиной, багульником, тяжелый болотный дух от стоячей воды кружил голову. Любим вздрогнул; неожиданно трухлявая валежина иль древняя полузатонувшая выскетъ шевельнулась над травой и вновь мертво застыла. То на берегу оказался монах, спина в серой однорядке кулем, из-под теплой туго напыленной скуфейки падали на плечи две жидкие желтые косицы. Перед ним лежали в полводы три черемховых удилица, перьевые поплавки сонно застыли среди кубышек. Дремал ли монах иль грезил, просунув ладони меж колен? но бахильцы уже полузатекли в мох по самые голяшки, а чернцу было все равно. Он оглянулся безразлично и снова перевел взгляд на поплавки. Старик был сух, морщиноват, курнос, тонкие губы плотно сжаты в нитку, лицо с кукишок, и серые глазенки беспрерывно точили слезу.

Любим пригляделся и вдруг узнал монаха, коего недавно приводили к воеводе на лодью, ставили под допрос, а после отпустили. То был священник Геронтий, его мятежники долго мучили в тюрьме, клонили под себя, чтобы он одобрил свару. Но старый священец стрельбу запрещал, против государевых людей биться не велел, но за древлеотеческую веру звал пострадать, как страдали святые мученики. Геронтий был большой дока в священных писаниях, его приглашали в Новгород для прений по православным догматам, но иеромонах ехать отказался, а стал пророчествовать в монастыре: де, лета от рождества Христова 1672 августа в первый день будет бой большой – великий по всей вселенной; второго – пастыря не будет; третьего – не многие Христа узнают; четвертого – будет большое порушение по всей земле; пятого – будет гнев Божий по всей земле; шестого – кровью реки восстанут; седьмого – восстанет великий муж; восьмого – Европа и Африка устроятся; девятого – в Троице единого Бога узнают по всей вселенной; десятого – светила ночные загаснут, и будет едино стадо и един пастырь, и придет день остатний...

Соловецкие монахи ждали того пророчества, но когда Судный день не настал, то и заточили Геронтия за блудословие и обманку в темничку на хлеб-воду и томили больше года. Но днями вот прогнали прочь из стен, чтобы зря не переводить на строптивца хлебов; открыли в стене калитку и ночью выбили старца-казначая вон...

Любим кашлянул за спиною, стараясь привлечь внимание. Но монах не сводил взгляда с поплавок.

– Клев на удю...

– Хрен на блюде. Не стой за спиной, проходи стороной, – сердито буркнул старец. Но оглянулся.

– Клюет ли?

– Где ей клевать? Она же не дура. Вы вон на рожон не прете, а обхаживаете монастырь, как невесту, уж сколькой год, умачиваете блинами. А он вам фигу.

Губы старца, сжатые в голубую нитку, вдруг ехидно растянулись в ветхой редкой бороде, побитой молью.

– Может, в этой баклуше и веком рыбы не бывало, все озеро тиной изросло, а вы сидите. Как приросли. Иль слово какое, иль напуск знаете приворотный? Не просто же так мокнете? – привязался Любим, только чтобы завязать разговор. Старик вроде бы скуп на слова, но задирист, и можно распалить его сердце. Ежли воистину молитвенник он, и святые писания сквозь прошел, и своей ученостью известен на Руси, то и знает, поди, какие-то особые наущения, что снимут с души Любима призеры. Насадил бабка-порчельница запуку, иль наслала по ветру печаль-тоску, иль положила злой наговор на след из-под его ноги, вот и не унять с той поры грудь.

Монах был из обители; с отроческих лет пробыл там, изрос в келье, и в том пустынном житье, борясь с бесами, открылась ему, наверное, подноготная всего сущего, что обитает под небесами. И так почудилось служивому: вот бросил старец один лишь взгляд из-под слезящихся сизых век и как бы зацепил Любима удою и потянул на берег, словно ошалелую от боли рыбину. Иначе бы для чего бездельно торчать за спиною у чернца, когда на стане уже колотят воцагою в медную сковороду и сзывают приписных на трапезу. И стремянному самое время быть там.

Но дремотно было, тихо, обавно на краю озерной чаши, утопленной в моховины; болотная прель, настоящая на багульнике, погружала в сладкое оцепенение. На всю округу ныл комар; серой шевелящейся пеленою был накрыт и инок. В круглом вороте заношенного коричневого понитка виднелась беззащитная тощая шея, облитая комаром, но монах не отбояривался, не скрипел зубами, но покорно принимал досаду, словно задресвел шкурою, иль была сладка эта боль.

– Знать, любишь рыбку ловить, старик, раз на пустом месте баклуши бьешь, – снова поддел Любим.

– Ты что, сквозь видишь?

– А хоть и сквозь. Я много всякого места перевидал. Меня Медвежья Смерть кличут, – вдруг похвалился, будто кто за язык дернул.

– Ишь ты? – повернулся старец. – Вон какие люди по белу свету шляются. И что ты здесь позабыл, зрящий сквозь?

– А то и вижу, что зря баклуши бьешь, бездельный человек.

– Сижу и ладно, никому не мешаю, никому не досаждаю. Но отовсюду гоним. Пришел ныне ты и гонишь... Вот промысю окунька с палец во славу Божию, коли повезет, заварю ушички, похлебаю горяченького и стану молить Господа за пропитаньице. Что дал насущного хлебца позобать, удоволил плоть. Кто многого хочет, сынок, тот опосля свои пальцы грызет, долго плачет о неразумении, паче о глупости, и просит смерти... Ишь ты, Медвежья Смерть, а комара боишься. Велика ли животинка-то?..

Старик не сердился, он так и сидел кульком, просунув ладони куда-то под живот; порою на озерную кулижку наскакивал сквознячок, морщил воду, и перьевые поплавки, смущая, колыхались, отсверкивали черненым серебром. В темную, как смола, воду убегали стоянцы бледно-зеленых, еще не расцветших бобошек; листья кувшинцев были как наливные шаньги, напеченные соловецкой русальницей и притороченные к невидимому дну сиреневым пряденом.

– Значит, любишь рыбку-то ловить? – домогался Любим.

– Да ты што, искушаешь меня?

– Пошто искушаю? Вижу, мается старик, со дна голых баб ловит на крючок да петельку, норовит с има кудесы творить. Иль ты соловецкими мошениками нарошно сюда спосылан, чтобы на нас запуки насылат, а? Для отводу глаз наплел воеводе сто коробов вранья, а сам измену творишь? Ну, отвечай, старик! – нарочно напустился стремянный и для острастки даже вскинул батог над тощей иссеченной морщинами шеей.

Но старик не ворохнулся, не прянул в испуге.

– А я говорю, что искушаешь, – стоял на своем Терентий. – И ты не кричи на меня, покинувший истинного Бога. Я, бат, не глухой. Я нынче ничего не боюсь, как жду конца света. Спаситель грядет, а вы, озорники, и ног-то не омыли, не то душу спасати.

Глазенки монаха, до того точившие слезу, разом просохли, заглубились, и в них высеклись искры. Сколь неуступчив старик, из можжевелого корня свит, хоть карбаса им шей, не поддаст. Вроде бы мозгля видом, червяк, трухлявый обабок, пальцем придавить, так одна воня – и всё; но ты посмотри, как вспрынул, встопорчился, будто на острогу грудью. Недаром маялись с ним соловецкие охальники два года с присыпкой, морили тюрьмой, да и выплюнули вон. И в чем сила его?

Любим заулыбался, бросил шутковать, присел на корточки, погладил монаха по плечу, как ребенка.

– Прости, батюшка. Так мне што, ступать прочь?

– Сам знаешь... Что мне тебе говорить, служивый.

– А как прознал ты про конец света, отче? Иль наснилось?

– А на што тебе знать? Ты вон пришел на святую обитель с пушками, как на злого супостата. Божьей кары, вижу, не боишься, так и конец света для тебя настал преж всех времен. Ты и живой вроде, а уж мертвяк, одна слиня и възгря. С того и малый комарец для тебя несносим...

– Эк ты меня сколь круто!..

– А как заслуживаешь. По чину и кусок, по греху и наказанье. Ты в озере-свят омывался, нет?

– Холодно больно...

– А ты за теплом к нам приехал? за огненной банькой, чтоб на угольях каленых кататься? Ты с войском нашел, чтоб обитель жечь и у пламени того греться? Ты смрадный к нам на остров явился, с дурными мыслями приплыл и с тела мерзкое так и не смыл, худой затейщик. Ты не на воров грудью встал, а на Божьих страдников. Есть среди них мерзавцы, что при жизни истлели, да тех, пожалуй, дьявол скоро к себе приберет заход убирать. А ты с пушками на святые стены. Ой-ой... Ты труды святого Филиппа в пыл пускаешь, черт поганый... Прости меня, Господи. И когда уйметесь-то? когда надоест добрых людей со свету сживать и в костер сажать? Никон-никошной, сатане пособник, заварил кашу безумно да и с лавки слетел; а свет-Михайлович, голова у него кругом, сошел с пути и давай тешиться Никоновыми затейками. Иль и он умом истратился? Скажи, сынок. Ты возле властей отираешься...

– А ты чего хошь? Чтоб царь воров миловал, да ласкал, да горячими блинами угащивал? Вы тут воду мутите на всю Русь, а нам морс кровавый через вас испивать? Вы тут чертей из озер тягаете себе в пособление, а нам ангелов милостивых от себя прочь гнать? Дурни вы, дурни...

– Может, мы и дурни, темная сторона, в скиту груши околачивали и добрый мир позабыли. Но вот мы заветы отичей не отдавали на сторону, как гулящую девку.

– И что ты на меня взъелся? Я тебя-то как увидел на озере, будто елейницу возжженную в ночи. Хотел росным ладаном напитать душу. А ты напустился, что дворной пес! – вскричал Любим, с изумлением уставясь на монаха. И тот вдруг смутился, глазки заточили влагу; слеза скоро скатывалась по иссохлым щекам и терялась в морщинах, в седой бородачке, сбившейся на сермяге клочом.

– А ты не возгоржайся, сынок, в чужом стану, – ответил Геронтий уже иным тоном. – Я тебя клянущу, а ты пуще того срони голову и будешь прав... Я пошто на тебя собакою?.. Ты бы, как с кораблика слез, белье бы чистое взял, да отошел бы в купель на озеро свято, да погрузил бы себя в студеные струи, и тебе бы Господь бодрость телесную дал, голове разумение, а душе смущение. И побежал бы ты прочь с острова, только тебя и видели, лишь бы не мараться в грязь, что натаскали худые людишки. А ты, поганый, по острову шатаешься, людей смущаешь, да и ко мне вот приплелся смущать.

– Да чем же, отец, я такой скверный, что со мною вам и поговорить мерзко?

– Что с тобою говорить? Одно согрешенье. Не столкнешься с тобою. Ты и образом-то шатун, лесной архимарит, добрый человек со страху помрет, право дело. Ты бы прах-от отрес. Ты еще во чреве у матери был, а я здесь в обители жил, преподобным трудился, Зосиме и Савватию. На мне лик уже ангельский, мантия есть, а ты вот пришел и меня искушаешь... У тебя братовья-то другого пути.

– И вы знаете, чей я брат? – изумился Любим и неожиданно покраснел, смутился, опустил взгляд: и сразу стало видно, как молод служивый, еще не замордател и не забрюхател от тягостных походов и бражной жизни.

– А пошто не знать-то? Я на сто пядей в глубь земли вижу, а ты для меня мелкий, как зеркальце, – усмехнулся старик, и глаза его снова просохли от влаги, и что-то в них проявилось острое, рысье. – И Федьку юрода знавал, строгих правил был чернец и за святость свою вознесен был к Господу. Правда, путаник был великий, Бога четверил. Там-то уж ему откроется вся правда... И с братом твоим Феоктистом двадцать лет одни житенные колобы ел и не подавился от попрека. Он тоже путаник большой, во хмелю буен и хвастлив, на руку не чист, ловко прибирает все, что близко лежит, но в писаниях силен, спорщик великий и Спасителю нашему верен до гроба. Я вот казну монастырскую бросил и бежал поскорее, чтобы с чертями не сосмеситься, одной каши не хлебать, одной мутовкой щей не мешать... А он за гобину братскую удавиться готов. Думаешь, пошто не сошел-то? Ведь он государю не враг, давно бы мог скинуться, да боится: де, без него всё пограбят, всё нажитое добро пустят в распыл... Бог-от, сынок, он все видит, он всему пособляет во сто крат, на чем человек замешан, добром и худом, чтобы стал христовенький явленным, как зеркальце... Однажды Феоктист,

еще будучи в будильщиках, у старца Иова часы стащил со стола, поймали, били палками по пяткам, отправили в мукосейную на четыре седмицы муку на хлебы сеять; так нет же, другой раз не стерпел и у брата келейного украл пятьдесят рублей... И так было много раз. И Бог-от посмотрел на Феоктиста и нашими же руками выбрал его в келари: де, хозяинуй, милос, сам у себя не своруешь. Вроде бы коты да к сливкам?.. И такой строгий вдруг хозяин сыскался...

Геронтий внезапно замолчал, словно бы устыдился за свое многословие; свет небесный перламутровый, какой бывает лишь у моря Студеного, разлился по луковично-желтому лицу, разгладил морщины, и повиделся монах добродетельным юношей, что задумался у начала пути. Озеро было как аспидная доска с редкими залысинами по середине чаши; по-прежнему поплавки лежали недвижны, только редкий жук-плавунец чертил лапками по водному зеркалу, оставляя на нем рассыпчатую дорожку. В монастыре перестали стрелять, запах гари и смерти оттянуло в морскую даль, и над островом установилась глубокая святая тишина. И даже громкий голос тут показался бы кощунным и дерзким. Неведомо почему Любим был встревожен сердцем и устыжен, и каждое теплое слово о родимом братце доставляло ему неожиданную радость. Это чувство было новым и сладило. Вроде бы отряс семейное родство, как прах со ступней, покидая очаг, годами многими не встречался с Феоктистом, да, оказывается, жил тот в груди неотлучно, как косточка в вишне. И спросил Любим с тайной мыслью, которая была пока неведома ему, но уже прочно заселилась в душе:

– Да как же ты-то попал в монахи?

– Видение было, – не удивился Геронтий, уже с любопытством оглядывая служивого. Дрожь в голосе жила... Ах, припекло, ах, клюнул в сердце Божий ангел, ах, навестила судьба, записанная в небесной книге...

– Видение?

– Да... Еще отроком был. Видение было во сне. И представился мне остров зеленый, и так на том острове тихо, что иду будто я и радуюсь в сердце своем. И дошел я до ямы глубокой, а около старец стоит и мне говорит: младе, уготовано место твое, ляг и лежи. Проснулся я утром, и запала мне в душу тоска, такая тоска, Господи Боже. Вот я и пошел тоску разгонять по обителям. Куда я иду, туда и тоска со мною. Ходил я, ходил, думаю, дай-ко схожу в Соловки, ну и пошел. Сколь это мы шли. О Господи, сколь недель мы шли, и не упомяну. Лесами большими. Ногами оббились, ослабли все, пообтрепались. А потом в карбасе ехали морем, сами гребли. Прибыли мы в святую обитель, походил я везде, помолился, пришел на это кладбище здешнее и вижу яму глубокою. А крестов-то, крестов-то кругом. И под каждым все инок лежит, и годы трудов его обозначены. Посмотрел я в ту могилку, и тоска пропала. Так на душе покойно мне стало... Вот так и живу на острове, забыл, сколько годов, ямку свою караюлю... А где же твоя ямка, сынок? – многозначительно сказал монах, смотал удочки и пошел прочь. Любим было направился следом, но Геронтий оглянулся, погрозил пальцем, будто служивый своим любопытством запирает ему путь...

Любим вышел на гору невдали от губы Кислой. Он долго оглядывался, провожая взглядом старца, пока тот не исчез в березовой ворге.

Море накатило сразу, подавляя простором, но и позывая к дороге. Оно горело белым пламенем; в голомени, блестящей алмазным крошевом, плавилась белухи, плевались водою, выгибая над волною лоснящиеся жирные тулова; солнца точильный круг, нестерпимо сверкая, извергал с крутящегося ободья снопы ослепительных брызг. Мирная обитель вставала пред глазами, как драгоценный камень яспис, вырастала прямо из океана, как неведомый блаженный град; над ним клочьями хлопковой бумаги вились неугомонные чайки; поверстав монастырь за огромный трапезный стол, они неотрывно кружились над ним, изымая с монашских рук хлебные крохи и тем посчитав свою жизнь самой счастливой. На берегу же зарделась морошка, вылупливаясь из бархатной темно-зеленой кожи; дух моря и болота был здесь особенно терпок и сладок, и уж в который раз у Любима закружилась голова. Он с тоскою поглядел на мир-

ный монастырь, желая войти в него не паломником иль гостем, не осадником с бердышом, но желанным Христовым сыном, чтоб всякий насельщик побратался с ним, и, усевшись за семейный монашій стол, стать для всех братом. Любим снова взглянул на солнце, считывая с него вещие знаки, и все в его глазах помрачилось, оделось теменью.

И вдруг над обителью хлопнуло с треском, будто порвали навдоль огромную холстину, иль ударили в пастуший бич, иль бабы-мовницы, полоща белье, хлестнули простынею по воде, и эхо гулко разнеслось по всему острову; над городской стеною вспыхнуло кудрявое белесое облачко с оранжевым глазом изнутри и лениво потянулось по ветру. Нет, остров не колыбнулся под ногами, но вроде бы что-то с болью отдалось в нем, ибо все живое на пять верст в округе сразу скрылось, затаилось, погрузилось в глуби, и даже сам свет небесный слинял и потух.

В той стороне снова заговорили пушки: монахам хотелось воевать. Любим сплюнул с горечью в сторону Соловецкого города и отправился в лагерь.

* * *

Оттуда на отводные караулы ротмистра Гаврилы Буша к Белой башне, гулко топоча по камням, спешили стрельцы во всем военном тяжелом сряде. Впереди бежал холмогорский сотник Ефим Бражников под знаменем. Любим уступил дорогу, но не подхватился вслед, а отчего-то подождал последнего служивого и пошел неторопким шагом. Он смерти не боялся, но помнил отцов наказ: де, от Невеи не бегай, лихоманка ее задери, но к ней не поспешай, сама, собака, тебя съест в свой час.

Все боевые затеи творились без стремянного, и он, царский отосланный, живущий для особых посылок, был в таборе как бы лишним: ни подначальных не было под ним, ни властей сверху.

Любим подивился виду сотника: обычно рыхлое, мучнистой белизны лицо Бражникова с рыжими хвостиками бровей было сейчас багрово от возбуждения и бега, словно бы вся телесная кровь кинулась в щеки. Глаза же, несмотря на весь воинственный пыл в них, оставались пустыми, водянистыми, готовыми вытечь вон. Сотник кинул на стремянного безразличный взгляд и выплюнул сквозь зубы вместе с харкоткой что-то похабное, солдатское, «в бога и в мать», что обычно кричат слободские парни, выходя на кулачки, чтобы распалить в груди азарта. До шанцев было еще далеко, и навряд ли воры могли слышать проклятья сотника, но эти-то слова только и нужны были сейчас для розжига. Любим проводил сотника взглядом и вдруг подумал, что видит его в последний раз.

... Когда он прибред на отводные караулы, кашу уже расхлебали, команда подсчитывала синяки и шишки; раненые стонали за тарасой на расстеленном парусном буйне. Ефим Бражников, алея стрелецким кафтаном, неряшливо лежал под Белой башней у самых ворот; почти напрочь срубленная голова его, едва державшаяся на лафтаке плоти, была неестественно повернута в сторону шанцев. Чайка-моевка уже вилась над трупом, пыталась усесться на полу-согнутые колени покойного. На стене толпились мятежники, потрясали пищалями и винтованными карабинами и, при всяком случае стреляя, не давали команде приблизиться к погибшему сотнику и прибрать его тело.

«Мы воеводе вашему, скотинью сыну, дрын в эфедрон, – вопили со стены и в бойницы башни. – Доскочит ишо на четырех лапах во ад, не будет больше хрюкать на Спасителя нашего, сатаненок. Кипеть кабаньему рылу в жупеле огня, зачтутся тамотки сиротские слезы. И жена-то его первейшая б... на Москве, и детишки его уроды, от чертей суразенки, вычинены из ослиного мосла и свиной щети. Таких уродов свет Божий еще не видал. И ноги-то у них кочережками с копытцами, а во лбу по две шишки...»

Плели воры несурязицу и, не стыдясь, спускали штаны, мочились сверху на сотника, поливали его соленым дождиком, чтобы лучше, прочнее сковала его соловецкая глина. А он,

храбрец пустоголовый, кому чужая голова – репка, а своя – Божья луковка, сейчас безмятежно, расхристанно полеживал на рассыпчатом камени, как кабацкий ярыжка, вконец пьяный, и в головах-то у него оказался сизый валун-одинец, а по белому остылому лицу уже ползли мураши, точка норки...

Из бессвязных стрелецких рассказов, еще нервных и путаных, понял стремянный, что мятежники среди дня вышли за Белую башню подлазом, навалились на караул гуртом, да втихомолку, работая ножами и бердышами, порешили на отводном городке пятидесятника Першку Преткова да стрельца Гайдуцкого приказу, родом литвина, Фильку Трофимова, а десять человек ранили, иных смертельно. И когда в подмогу, не разобравшись толком, кинулся шальной сотник Бражников на мятежников, то воры, не промедля, пустились наутек за стены, а холмогорец в горячке стал преследовать их с саблей и тут под воротами Белой башни и был срублен до смерти...

Вскоре прибыл воевода на красном коне. Воры на стене поначалу оторопели, стихли, словно бы ранее потратились словами; потом, опомнясь, засуетились в башне возле пушек, принялись банить большие застенные пищали, подымать воротком из кладовой ядра в корзинах и складывать в грядки.

«Чего ращеперился, зверь окаянный, иль добрых людей не видал? – закричал с облома высокий мужик в кудлатой черно-синей бороде ожерельем и вскинул солистр, оперши его на левую культяпку, туго обтянутую кожей. – Вот ужо днями и тебе гнить туточки», – вор ткнул пальцем вниз, где у подножья лежал сотник, и снова стал выщеливать воеводу. Мещеринов же труса не праздновал, хотя ротмистр Буш и пытался стянуть его за полу кафтана за накат, в глубокую яму, где сидела стрелецкая вахта. Коренастый, супистый, большеукий, воевода вроде бы врос в насыпь, воткнув кулаки в боки; его мглистые лупастые глаза были темнее малороссийской ночи.

«Чего уставился, окаянный, на чужое добро? Не нам ты хозяин! У тебя своего то и есть, что в штанах болтается. Да и то, поди, заржавело», – зареготал на стене мятежник, сбил на затылок курпейчатую шапку с суконным верхом.

«Так его, Морж! Припечатай сатаненка промеж глаз, чтобы место свое знал!» – надсмехались на городе чернцы, задоря жожака.

Но Морж стрелять не стал из пистолы, заткнул ее за опояску.

«Живи пока, сучонок! Нынче гостей жди!»

И валкой походкой прошел с облома в Белую башню.

«Отдайте сотника! – закричал воевода, пропустив угрозы меж ушей. – На вас что, и креста уж нет? Иль вовсе ляхам продалися?!»

«Еретника не погребают. Иль запоматывал? Христопродавцам по Стоглаву место в скотиньей яме, где псы жируют».

«И-эх, собаки, чертей заступники! Где настоятель-то? Мы послов зашлем!»

«Твоими заботами горло пересохло... Шли гостей, хоть кровушки попьем», – беззаботно грозились со стены.

Мещеринов еще помялся на раскате, но видя, что пустословьем гилевщиков не пронять, спустился в копанку за насыпь и, подсунув полу кафтана, уселся на завалинку из хряща. Тут-то и пался ему на глаза стремянный; тот бездельно маялся, обвалившись спиной на каменную сыпь; заложив руки за голову, служивый бездумно смотрел в небо, где проплывали, кучась, белояровые облачки, уже густо позлащенные снизу. Там случились скорые перемены: мир тускнел, становился бусым; дальние елинники уже густо посинели; за моховым болотцем, где проблескивал край Святого озера, ложилась вечерняя паморока. Все кругом будто присыпало серебристой пылью со свинцовым отблеском, и хотя ярило скоро западет на какой-то прощальный миг, запечатлев на окоме огненную царскую корону, но тут же и сползет с постелей, бессонное, потащится обратно на небесную кручу будить богомольников и раноставов. Как лас-

ково в эти минуты, как мирно, благорастворение; даже стоны раненых за раскатом не задевают слуха, а запах крови и пороха не берedit груди.

Такой беззаботной легкости на сердце не испытывал Любим, пожалуй, с самого детства, когда хаживал с отцом в помытчиках на соколиные ловища; в самое негодящее время вдруг растворилась душа для студеной струи, истекающей из Божьей криницы. Подумалось отвлеченно: все ерестился, гордец, все выхаживался пред старшими, чтобы выказать себя в перво-статейном виде, все в лучших хотел быть, надеясь на кулаки и стати; а оказалось, что как ни карабкайся по Спальной лестнице по чужим спинам поближе к державному, чтобы зреть его темные, сголуба, очи, да увидишь лишь зеленый в травах юфтевый сапожонко с серебряным гвоздем да позлащенное стремя. И коли нажито что в короткой жизни по Божьему изволу, так все прах и тлен, некому после себя оставить, ежели не отымут за провинности назад в казну; загряз, малец, на юру, как кренивое сухостойное дерево.

Любим с туманной надеждою устало смежил веки, ожидая странного любовного зова, его медвежеватые глазки густо опушили темными ресничками, и сквозь колышашую тревожную завесу он всмотрелся в бронзовеющий купол над головою с алыми пролысынами наступающей зари; и почудилось ему небо громадным праздничным столом, уставленным брашном и питиями, где среди позлащенных сосудов, и кубков, и серебряных росольников, и тарелей мостятся бородатые и кучерявые мужи и вовсе выюноши с ангельским взором. И пристань тут же позади трапезы, состроенная из бело-розового мрамора, и у прибегища, полоща полуспушенными парусами, толпятся лоды, и шняки, и кочмары, и барки, и всякая мелкая речная посуда... Вдруг над гостевым столом распахнулось косячатое оконце, и просунулась огненно-рыжая борода и стрелчатые усы... Но дальше Любим ничего не разглядел: сквозь наваждение просочился грубый голос воеводы:

– Эй ты... Разлегся. Как у бабы на перине... Да, ты, стремянный! Слышь, Ванюков? Не баринуй, когда другие сопли на кулак мотают. Не услышишь, как и голову под топор...

Но Любим лишь лениво, сквозь дрему, скопил взгляд на Мещеринова. Тот мостился на завалинке, набычившись, не зная, на ком умирить гнев; меж колен сабелька турецкого дела, правая рука на крыже, изукрашенном чернью. На боку кинжал шкоцкого дела со вчиненным пистолетным стволиком, у стены окопа прислонен бердыш с хитро вставленным в ратовище дульцем солистра. Любил воевода ухищрения и ухорошки, и красовитое доброе оружие, коим лишь и стоит похвалиться служивому...

... Да кто ему воевода? Пристал, как репей в собачий хвост... Как телеге пятое колесо, как смычок барабану, что козлу коний хвост. Чего хочу, то и ворочу! И даже слезная жалоба Мещеринова в Тайный приказ навряд ли смутит тамошнего дьяка и наведет на стремянного грозу. Кто ближе всех к царю? кто пред очима постоянно стоит, как только собирается государь на войну, иль в ближний поход, иль на службы по монастырям, иль на птичью охоту и зверные ловища? Да это он, Любим Ванюков, по прозвищу Медвежья Смерть, ведет запасного царского коня; это он угождает державному в тягостях и ловит его желанья, и своею грудью караулит изменщицкую пулю и стрелу. А Мещеринову и удасться-то предстать пред государя, ежели шибко похлопочут именитые родичи...

Взгляд у воеводы стух, глаза затосковали, стали собачьими.

Подкузьмили Кузьму, подъермили Ерему; не будь к каждой бочке затычкой; глядишь, и Господь повернется к тебе лицом, – зажалел Любим воеводу. Ведь и тому несладко жилось, не одни меда и сдобные перепечи; и над ним, борзым кобелем, свой псарь с арапником.

Любим сдался, придвинулся к воеводе.

– Толкуют с Москвы: де, улести их, воров, медами; де, сахарной головой примани. Да их не поколеблешь посулами, раз на смерть встали. Этих злодеев огнем-дыбою разве и проймешь, – зажалобился Мещеринов тусклым голосом. Говорил он почти шепотом, оглядываясь по сторонам, словно бы кругом чужие невидимые уши понасажены. Любим же молчал, лишь

сверлил пустым взором туманную даль, где просеивались первые искорки звезд. За спиною в двадцати сажнях лежал Ефим Бражников, а душа его уже воспарила над Большим Соловецким островом и, успокоенная, нетревожная, теперь не жаждала чужой крови и мятежной головы.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.